

№1

# СЛОВА И ОТЗВУКИ

САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГ-  
ПАРИЖ



«LE GOÛT DE LA COMMUNICATION EST INVERSEMENT PROPORTIONNEL À NOS RÉELLES CONNAISSANCES DE L'INTERLOCUTEUR ET DIRECTEMENT PROPORTIONNEL À L'ASPIRATION À L'INTERESSER À SOI. CE N'EST PAS DE L'ACOUSTIQUE QU'IL CONVIENT DE SE SOUCIER: ELLE VIENDRA D'ELLE-MÊME, PLUTÔT DE LA DISTANCE».

O. MANDELCHTAM

	<b>НАДЕЖДА АНДРЮЩЕНКО К СОБЕСЕДНИКУ</b>	4
<b>GALERIE</b>	<b>MAYA BOISGALLAYS</b>	41
	<b>MAUD GREDER</b>	44
<b>CULTUREL</b>	<b>ETTORE LO GATTO. IL MITO DI PIETROBURGO</b>	22
	<b>АЛЕКСАНДР ЛАВРОВ «ЗАПИСКИ О МОСКОВИИ» ДЕ ЛА НЕВИЛЛЯ</b>	16
	<b>АЛЕКСАНДР СИВАК СУДЬБА РОССИИ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ И ПРОРОЧЕСТВАХ</b>	33
	<b>WLADIMIR TROUBETZKOY L'EUROPE ET SON DOUBLE</b>	6
	<b>LE FONDS RUSSE DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE</b>	73
	<b>HELENE KAPLAN LA BIBLIOTHEQUE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE CONTEMPORAINE</b>	79
<b>ATELIER</b>	<b>ROMAIN GARY CITOYEN PIGEON. UN HUMANISTE</b>	75
	<b>ВЛАДИМИР МАТИЕВСКИЙ СТИХИ</b>	74
	<b>CAMILLE MIMS UNFINISHED SYMPHONY</b>	66
<b>PORTRAIT</b>	<b>АЛЬБЕРТ БУРМИСТРОВ ПЕТЕРБУРГ В. РОЗАНОВА</b>	52
	<b>БОРИС ЛОССКИЙ НОВОЕ О ШОСТАКОВИЧЕ</b>	48
<b>SCÈNE</b>	<b>JANET SAVIN LA MISE EN SCÈNE DE TRAGÉDIES GRECQUES PAR ARIANE MNOUCHKINE</b>	61
<b>ÉTAGES D'UNE VILLE</b>	<b>ANATOLE KOPP EXPRESSION ARCHITECTURALE ET PROBLEMES POLITIQUES</b>	58

... ВКУС СООБЩИТЕЛЬНОСТИ ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЕН НАШЕМУ РЕАЛЬНОМУ ЗНАНИЮ О СОБЕСЕДНИКЕ И ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЕН СТРЕМЛЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЕГО СОБОЙ. НЕ ОБ АКУСТИКЕ СЛЕДУЕТ ЗАБОТИТЬСЯ: ОНА ПРИДЕТ САМА, СКОРЕЕ О РАССТОЯНИИ.

О. МАНДЕЛЬШТАМ

	<b>НАДЕЖДА АНДРЮЩЕНКО</b> К СОБЕСЕДНИКУ	4
<b>ГАЛЕРЕЯ</b>	<b>МАЙЯ БУАГАЛЛЭ</b>	41
	<b>МОД ГРЕДЕР</b>	44
<b>КУЛЬТУРОЛОГИЯ</b>	<b>ЭТТОРЕ ЛО ГАТТО</b> МИФ ПЕТЕРБУРГА	22
	<b>АЛЕКСАНДР ЛАВРОВ</b> «ЗАПИСКИ О МОСКОВИИ» ДЕ ЛА НЕВИЛЛЯ	16
	<b>АЛЕКСАНДР СИВАК</b> СУДЬБА РОССИИ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ И ПРОРОЧЕСТВАХ	33
	<b>ВЛАДИМИР ТРУБЕЦКОЙ</b> ЕВРОПА И ЕЕ ДВОЙНИК	6
<b>КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ</b>	<b>РУССКИЕ ФОНДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ</b>	73
	<b>ЭЛЕН КАПЛАН</b> БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	79
<b>МАСТЕРСКАЯ СЛОВ</b>	<b>РОМЭН ГАРИ</b> ГРАЖДАНИН ГОЛУБЬ. ГУМАНИСТ	75
	<b>ВЛАДИМИР МАТИЕВСКИЙ</b> СТИХИ	74
	<b>КАМИЛИЯ МИМЗ</b> НЕОКОНЧЕННАЯ СИМФОНИЯ	66
<b>ПОРТРЕТЫ</b>	<b>АЛЬБЕРТ БУРМИСТРОВ</b> ПЕТЕРБУРГ В. РОЗАНОВА	52
	<b>БОРИС ЛОССКИЙ</b> НОВОЕ О ШОСТАКОВИЧЕ	48
<b>СЦЕНА</b>	<b>ЖАНЕТ САВЕН</b> ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ В ПОСТАНОВКЕ АРИАДНЫ МНУШКИН	61
<b>ЭТАЖИ ГОРОДА</b>	<b>АНАТОЛЬ КООП</b> ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ	58



## НАДЕЖДА АНДРЮЩЕНКО

«ОТКУДА ВЫ ПРИХОДИТЕ, СЛОВА, ИСПОЛНЕННЫЕ  
ДОБРОГО ДОВЕРЬЯ?»

Ответить на вопрос, откуда к нам приходят слова, очень трудно. Мы не замечаем легкости и загадочности их появления. Как не замечаем мы и трудной судьбы слова, сопровождающего нас на жизненном пути.

Слово, живое слово в своей незащищенности — всегда на виду; всегда — просматриваемое со всех сторон, слышимое каждым ухом по-своему, ощущаемое с разной степенью напряженности, создающее собственную цветовую гамму и обладающее неповторимой пластикой.

Феномен живого слова — в уникальности его бытия и со-бытийности человеку: за тысячелетия истории одни и те же слова были повторены миллионы раз, но каждый раз это было новое слово — новая сказанность. Бесконечная нить истории прядется из мимолетностей «сейчас», и каждое из них наполнено не только осознанием ускользающего времени, но и ощущением исключительности происходящего в этом «сейчас»:

Я говорю сейчас словами теми,  
Что только раз рождаются в душе  
(А.Ахматова).

Переживая уникальность сказанного, мы наделяем слово независимостью и самоценностью и воспринимаем его со-бытийным нашему собственному существованию. И слово, как легендарная птица Феникс, снова и снова возрождается из пепла — из своей осуществленной полновесности и глубинности. Пока человек не вызовет слово к жизни, его просто нет. Как, впрочем, нет его и тогда, когда оно не сбылось, осталось в позиции «внеаходимости», если воспользоваться термином М.М.Бахтина. С

«внеаходимостью» утрачивается внутренний неслышимый диалог человека и слова, разрушается обретенная через слово возможность понимания человеком человека.

Слово всегда обращено к Другому (даже если этот Другой — я сам, произносящий его про себя): оно наполнено напряженностью смысла, чувства, звучания — энергией направленности к Другому, на диалог с ним, иначе же слово обречено на одиночество, скитание, небытие.

Слово для нас — всегда возможность встречи, диалога с разными историческими эпохами и людьми; важно лишь отыскать нужное слово, найти верный путь к Другому. Не состоявшись в Другом, слово не со-единяет двоих, а замыкает стену одиночества неслышимостью и непониманием.

Человек относится к окружающему миру через слово. Находя чему-либо название, мы совершаем пре-образование: многоявленность мира посредством слова находит в нас со-ответствие; слово знакомит нас с окружающим миром, названность которого снимает покрывало боязненной отчужденности. Мое слово, называющее всех и все вокруг, строит мою — звучащую — картину:

Есть рифмы в мире сем:  
Разъединишь — и дрогнет.

Елена. Ахиллес.  
Звук назови созвучней.  
Да, хаосу вразрез  
Построен на созвучьях  
Мир

(М.Цветаева).

Как трудно найти живое слово, прорастающее вместе с настоящим чувством, не захлебнуться в потоке многословия, а нежно и бережно единственно верным словом «прикоснуться... К живущему во мне — и в тишине» (З.Гиппиус). Отсюда — та беспокойная тревожность, с которой мы вдруг замечаем почти неизбежную неисполненность собственной сказанности. Слово оборачивается двуликим Янусом, способным сказать все и — не высказать ничего... Наклонность человеческой души к непосредственному впечатлению и чувству противится определяемости живым — вы-сказанным — словом.

Тютчевская строка: «Мысль изреченная есть ложь...» — ставит вопрос: возможно ли слову одновременно состояться в своей сокровенности и всеобщности? Молчание поэта утверждает неосуществимость их гармоничного единства:

Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.  
Взрывая, возмутишь ключи, —  
Питайся ими и молчи.

Ощущение поэтом слова в себе настолько лично-стно значимо, со-кровенно, что открытость собственного слова для других равнозначна незащищенной обнаженности и переживается драматически.

И человек в противостоянии словесному обнажению души пытается избежать сказанности. Но молчание в нашем — слышимом — мире невозможно; говорит все: солнце, море, трава, горы — и каждое своим языком. Звучащий вокруг нас мир и говорение как способ бытия в нем обязывают к умению слышать. Слушая голоса земли, мы тем самым слышим и себя: «всякое подлинное слушание опирается на сказанное в себе» (М.Хайдеггер). Наша способность слышать избирательна; слушая, мы слышим не всякий голос и не всякий язык понимаем, ибо для того нужен не только слух, но и особая настроенность души — как непрременное условие слышания. Мы слушаем по-разному и разное, но у каждого из нас в жизни есть «слуховых верховий час»:

...когда в уши нам мир — как в очи!  
Зримости свернутая завеса!  
Времени явственное затишье!  
Час, когда ухо разъяв, как веко,  
Больше не весим, не дышим: слышим.  
*(М.Цветаева).*

Свой голос имеет и слово: «весомый, грубый, зримый» — у Владимира Маяковского; «с песком, полусырыми» кажутся горькие слова Александру Кушнеру; и, наверное, у многих фронтовиков «Долго будут в памяти слова Цвета орудийного ствола» (Д.Самойлова).

Уникальным тембром выделяются из всех слов голоса имен, может быть, потому, что в них — предельная слиянность слова с самим человеком. Чтобы услышать голос имени, нужен особый талант проникновения не только в слово, но и в человека. Талант этот дан даже не каждому поэту, поскольку в шумной разноголосице трудно различить сказанность человеческого имени. Федор Сологуб услышал имя ВЯЧЕСЛАВ «В легких вздохах дальних лоз, В стрекотании стрекоз, В зраке пестром теплых трав»:

Вящий? Вещий?  
Прославляющий ли вещи?  
Вече? иль венец?

В сочетаньи вещих слов,  
В сочетаньи гулких слав,  
В хрупкий шорох ломких трав,  
В радость розовых кустов  
Льется имя ВЯЧЕСЛАВ.

Явственно ощущаемой прерванностью полета заговорило с Мариной Цветаевой имя Александра Блока:

Имя твое — птица в руке,  
Имя твое — льдинка на языке.  
Одно единственное движение губ.  
Имя твое — пять букв.  
Мячик, пойманный на лету,  
Серебряный бубенец во рту.

Эти поэтические строчки — свидетельства не утраченной свежести восприятия «внутренней формы» слова одновременно это и единственность ответно найденного слова продолжающего — уже в нас — жизнь звучащих и отзвучавших слов.

Человек живет в мире загадочной действительности слова, как герой в волшебной сказке, — невероятными приключениями и интересными встречами... Но как часто мы сами отказываемся от волшебства ежедневно-будничным употреблением слова, которое старит его, создает ощущение неспособности передать словом состояние человека. В жизненной суматохе мы оставляем слову слишком узкое пространство для осуществления себя. Давая же слову возможность свершиться (со-вершиться — подняться вместе вверх), человек находит и верный путь, ибо «всякое, даже самое отдаленное и приближенное сознание логоса предполагает сверхобычную напряженность личной жизни, повышенное онтологически-жизненное самосознание» (В.Эрн).

О слове сказано и написано немало — от поэтических восхищенных восклицаний до исследования мельчайших лингвистических тонкостей, но все же живое слово — сказанность — остается со своей неразгаданной тайной, неотлучно сопровождающей его всю жизнь. Надо ли пытаться ее разгадать? Не потеряем ли мы чего с нахождением ответа, возможным ли вообще? Для нас ведь важнее чувствовать эту загадочность, уникальность слова, никогда не видеть открытыми тайны слов, дающие нашей жизни ощущение наполненности...

Слово, исполненное к нам доброго доверия, требует совсем немного — всего лишь умения слушать.

## ЕВРОПА И ЕЕ ДВОЙНИК

ВЛАДИМИР ТРУБЕЦКОЙ

Клеман Росс (Галлимар, 1976) в своем прекрасном очерке «Действительность и ее двойник» показал, что в отношениях подлинника к своему двойнику именно подлинник становится двойником своего двойника. Подлинник поступает своей реальностью и облакает ею своего двойника, истощая себя в безысходной борьбе с самозванцем, само существование которого связано с ним. Дело в том, что двойник оспаривает у подлинника право на его основное свойство, подводящее под него онтологическую базу и заключающееся в том, чтобы оставаться самим собой, а не кем-то другим, чтобы быть единственным в своем роде (см. «Крития» Платона). Перестав быть единственным, то есть самим собою, подлинное не чувствует больше уверенности в том, что оно реально и потому сомневается не только в своей идентичности, но и в своем существовании.

Вероятно, отношения именно такого типа установились в XIX столетии в идейной сфере между Западной Европой и Россией. Ответственность за это в большой степени разделяют они обе, отражаясь друг в друге как в зеркалах и отказываясь от своего отражения. Маркиз де Кюстин, искавший в николаевской России двойного спасителя почившей абсолютистской Европы, представляет в «России в 1839 г.»<sup>1</sup> николаевскую Россию двойной угрозой Европе. В это же время, славянофилы, как и западники, предавая Европу анафеме, обращались к ней с заклинаниями, в поисках русской самобытности, ускользавшей и от их усилий, и от их страсти. Ожидая невозможного разрешения нерешимой задачи каждый истощает себя в отрицании Другого и в поисках абсолютно призрачной самобытности. Это особенно справедливо по отношению к русским, но и по сей день кое-кому в Западной Европе по-прежнему хочется доказать, что Россия никогда не производила ничего оригинального и нового, кроме карикатуры на Европу, и отбрасывают ее на периферию мира и духа.<sup>2</sup> Но есть ли что-либо более «русское», чем сильнейшее отрицание самих себя? Когда Солженицын, объявив об опасности, которую представляет для мира Советский Союз, в то же время считает, что все, что в настоящее время составляет этот Советский Союз, пришло из Европы, является чужеродной прививкой на здоровое тело, неуловимой, по существу, «самобытной» России, он ставит себя в противоречивое положение: современная Россия — это одновременно совершенно Другое и мы сами, произошедшие от самих себя. Кюстин, — как было

показано в диссертации Мишеля Кадо, — «Россия в интеллектуальной жизни Франции 1839-1856» — использовался и управлялся русскими, в частности, Николаем Тургеневым, а что не хотят ему простить русские, так это то, что ему удалось сказать столь много дурного о России, сколько они могли бы сказать сами: вот почему в России так любят себя в «России в 1839»...

На самом деле, начиная с XIX в., отношения Европы — России проходят под знаком психотического искушения, точно сказать, шизофрении. Они основаны на парадоксальном раздвоении, происшедшем в лоне Европы. Приблизительно в то же время Западная Европа и Россия стали вдвойне чужими друг другу. Для одних в Западной Европе Россия после наполеоновских войн стала врагом, пришедшим с Востока. Для русских Западная Европа стала опасной антимodelью, чье влияние слишком явное в России со времен Петра Великого, грозило самой русской самобытности. Это раздвоение путем усложнения, этот раскол между Западной Европой и Россией — то есть появление двух Европ, конечно же немедленно выразилось в раздвоении делением: на месте одной Европы появились две Европы. Одна Европа была разделена внутри надвое, одно в двух и две в одной, а в России — полюса «славянофилов» и «западников».

Если мы перенесем эти рассуждения общего порядка в план культуры, литературы, мы придем к следующим выводам. В XIX в. Западная Европа, пережившая революционные и наполеоновские войны, не подозревала, что отныне Европу составляет Западная Европа вместе с Россией, что это была Европа, включая Россию. Подобным образом и русские, славянофилы и западники, хорошо знавшие Европу и ее искусство, считая Россию не Европой, шли еще дальше: они думали, что «настоящей» Европой и была Россия. Следовательно — одинаковое неприятие, два взаимоисключающих отражения одного в другом: западная половина Европы регулярно обнаруживает свой образ в восточной половине и отвергает его, восточная половина — Россия, не менее регулярно подавляет в себе это «европейство», заставляющее ее бояться за свое существование. Но, как показывает Клеман Росс, истинное мстит за себя и возвращается, потому что последнее слово всегда за ним. Западную Европу на каждом новом витке притягивает Россия, где она черпает свое благо; Россия же непрерывно черпает новые силы в Европе. Свидетелем тому — рубеж последнего века в России.

Существует однако самый светлый, самый чистый и тем самым самый таинственный образ — что есть более таинственного, чем непостижимая прозрачность? — вознесшийся сразу над противоположест-

венным раздвоением Европы и России, став полным заклатьем от него, манифестом единства, появившимся прежде преодоления раскола. Это Пушкин, европейский среди русских поэтов, и самый русский среди европейских, и первый единственный, вырвавшийся из раскола, опередив его на несколько лет, аристократ духа, который впоследствии послужил всем — как западникам, так и славянофилам, не только Достоевскому, но еще и Гоголю, и Толстому — для обоснования себя. В случае с Пушкиным заключено заклатье от раздвоенности, светлое утро возвращения к реальности и к себе.

Именно этот пример, обещающий умиротворение и гармонию, захочет «разгадать» Достоевский 8 июня 1880 г., на открытии памятника Пушкину в Москве.

### Речь Достоевского о Пушкине; диалог и полифония

На третий день празднеств по поводу торжественного открытия памятника Пушкину в Москве Достоевский произнес речь, вызвавшую невероятное воодушевление. Эта речь, которую он боялся не произнести — то ли потому, что предчувствовал приступ, то ли опасаясь, что ему помешают — по выражению признанного вождя славянофилов Ивана Аксакова, стала «событием». Западники, представленные Иваном Тургеневым, давно поссорившиеся с Достоевским; славянофилы, от которых Достоевский, несмотря на сходство взглядов, всегда старался отмежеваться; демократы, например Глеб Успенский, с которыми Достоевский спорит без конца, представители официозной идеологии, не доверяющие Достоевскому; студенты, светские дамы — все объединяются необычайным воодушевлением, устремляются пожать ему руку; эта пестрая публика и эти литературно-политические группировки, которые, казалось, могли договориться разве что о поддержании пушкинских торжеств на крайне посредственном и условном уровне; все эти люди, готовые даже лишиться слова независимого одиночку, каким всегда был Достоевский, все за один лишь день примирились; своего рода единодушие возникло вокруг Пушкина, вокруг «русского идеала», увиденного в тот день. Восьмого июня случилось то, что не должно было произойти никогда.

Что же все-таки произошло тогда, 8 июня 1880 г.? Почему «Пушкинская речь» стала событием? Я претендую на исчерпывающее изложение в рамках вынужденно краткой статьи всего смысла и значения этой речи. Я хотел бы только сто лет спустя после того, как она была произнесена, попытаться объяснить, почему в свое время она произвела та-

кое впечатление и почему еще и сегодня она пробуждает в нас такой отклик. На самом деле нужно было бы как бы перевести ее на современный язык и даже дерзнуть, используя понятия, разработанные в отношении перевода проф. Ефимом Эткингом, дать в 1980 г. подобие идей, развитых Достоевским в 1880 г. Пушкин, по словам Достоевского, есть «пророчество и указание»;<sup>3</sup> точно также и «Пушкинская речь» остается пророчеством и указанием и по сей день.

Достоевский не стал произносить простую и доступную речь, которая могла бы понравиться всем. Как раз напротив, эта речь наполнена была его неотступными мыслями о русской культуре, о Пушкине, о судьбах России. Достоевский ни в чем не отрекается от себя, он продолжает быть очень противоречивым, но, как я постараюсь показать, в некоторых местах своей речи он поднимается над своими собственными противоречиями и особенно над спорами своего времени — благодаря Пушкину...

Нелегко уловить форму «Пушкинской речи». Не только для нерусского, но и для многих русских есть нечто провокационное, нечто тягостное в предназначении русской литературы служить, согласно Достоевскому, всемирности, всечеловечности. Что значит эта «миссия» русского народа, призванного как бы «стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всеобъединяющей» (с. 389-390)? Что это за русский человек, которому предназначено стать, по библейскому выражению, «всечеловеком»? Здесь звучит как бы отзвук славянофильства, того позднего славянофильства, которое в то время, с одной стороны — поворачивалось к панславянскому, а с другой — к официальному великорусскому шовинизму. Произведенное впечатление тягостно, особенно, если вспомнить все, что сам Достоевский недавно писал в «Дневнике писателя» во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Отзвук, конечно же, есть, ибо способ писать и размышлять по Достоевскому, как показал Бахтин, есть диалог. Когда он говорит или пишет, Достоевский, как и его персонажи спорят сами с собою, а также и с другими, не присутствующими при том собеседниками. Достоевского можно было бы сравнить с его любимым персонажем — Дон-Кихотом, которому всегда суждено сражаться с многочисленными ветряными мельницами. Возможно, по причине стереоскопического характера мысли и стиля Достоевского или, лучше сказать, их стереофонического характера. «Пушкинская речь» и вызвала такой отклик среди слушающих, как у всех, так и у каждого

в отдельности — поскольку в ней накладываются друг на друга многочисленные идейные слои, что создает удивительную выразительность.

Действительно, для Достоевского не существует идеи «в себе». Нет ничего более чуждого Достоевскому, чем догматизм, дидактика, каждая мысль «с самого начала является как бы репликой в неоконченном диалоге». <sup>4</sup> В. Шкловский, а до него Л. Гроссман, исходили из гипотезы, что именно спор, антагонизм между идеологическими голосами лежит в основе самой формы произведений Достоевского, их стиля. Достоевский не любит заканчивать роман, финал его романов часто похож на бегство, на признание поражения: «Пока произведение оставалось многоплановым, в нем звучали многочисленные голоса, пока персонажи вели между собой спор, оно не знало страха перед невозможностью прийти к какому-либо решению. Конец романа для Достоевского был подобен низвержению Вавилонской башни». <sup>5</sup> Этот ни разу не кончающийся, все длящийся диалог, тоже является частью полифонии, характеризующей, согласно Бахтину, романы Достоевского.

Для того чтобы диалог между персонажами, автором и читателем смог состояться и получить продолжение, необходимо, чтобы реплики диалога никогда не были бы окончательными. Нужно, чтобы сами слова не были однозначными, чтобы они наполнялись двусмысленностью. «Не то!», — восклицал Достоевский, читая «Исповедь» Льва Толстого. Это могло бы стать девизом Достоевского — никогда не согласного до конца, никогда не удовлетворенного полностью, всегда готового спорить. Эта неудовлетворенность, эти сомнения — объясняют и кажущуюся расслабленность его стиля, растянутого, пространного, многословного, и необычайную силу его воздействия; он призывает противоречие, его ждет, требует. Кажется, что Достоевский постоянно раздражен самим собою, по крайней мере, так же, как и другими. Отсюда идет и его ожесточение против Льва Толстого, потому что тот пишет в решительной, безоговорочной манере. Я. О. Зунделович очень хорошо показал важность для Достоевского «постороннего», этой манеры «говорить вокруг да около», говорить обо всем и даже о чем угодно, кроме главного; однако, через это постороннее и выражается невысказанное главное. <sup>6</sup> Самый удивительный пример этого, несомненно, поразительный диалог Мышкина и Рогожина у закрытого тела Настасьи Филипповны в финале «Идиота». Нечто аналогичное произошло в «Пушкинской речи». Текст, лежащий перед нами, — в большой мере отстраненный, он требует объяснения.

В «Пушкинской речи», произнесенной Достоевским за полгода до своей смерти, он подошел очень

близко к своим самым сокровенным мыслям, к убеждениям всей жизни, мыслям, еще не выраженным окончательно, которые он и не хочет заключать в окончательную жесткую форму: отсюда, по-видимому, его манера спохватываться, явно противоречить себе. Он спорит с собой, со своими прежними идеями, он возобновляет прошлую полемику.

Диалог, стереофония, искусство «говорить не по сути» лежат в основе художественной формы, совершенно своеобразной и поразительно действенной: открытой формы, намеренно незаконченной, в которую открыт доступ читателю на равных правах с персонажами и автором. Сам образ рассказчика-летописца, если продолжить мысль, развернутую Д. С. Лихачевым в его «Поэтике древнерусской литературы» (1979) — призывает читателя к соавторству в разрешении загадок, в придании смысла событиям, которые отныне уже не будут поняты. Если вспомнить определение, сделанное Роланом Бартом, то произведения Достоевского можно отнести к тем, что пишутся (*scriptible*) — их пишет читатель в процессе чтения. Эта художественная форма, по Бахтину, не приводит в действие содержание, уже найденное окончательно и завершённое, а «позволяет, наоборот, найти и увидеть его». <sup>7</sup> То, что Достоевский изложил в «Пушкинской речи», он уже писал в другом месте, в «Дневнике писателя», в статьях о литературе 1861 г., но в форме тезисов, недиалогичных утверждений, в то время, как «Пушкинская речь», будучи в действительности речью произнесенной, обращенной к трудной, очень неоднородной аудитории, сумела создать диалог. Эта речь в том виде, как она была опубликована в 1880 г. в «Дневнике писателя», не редактировалась тщательно, для приведения в окончательную форму. Чтобы сохранить в ней что-то от устного варианта, Достоевский представляет ее в форме очерка (само по себе это русское слово очень знаменательно: «быстрый рисунок, для того, чтобы дать понятие о предмете»). Ознакомление с «Речью» — этим очерком, открытым для наших дополнений — побуждает нас продолжить ее, перевести ее на наш сегодняшний язык.

«Будучи автором и в качестве такового, Достоевский ищет слова, которые провоцируют, дразнят, заставляют говорить, войти в диалог», поясняет Бахтин. <sup>8</sup> Именно в этом смысле, по-моему, нужно понимать провоцирующие высказывания Достоевского. Никогда не надо воспринимать буквально то, что говорит Достоевский (или его герои), но нужно спросить, почему он это говорит, что имеет в виду и к о м у он отвечает. Имеет значение не столько содержание, сколько функция его утверждений и их положение в нескольких контекстах сразу. Когда Достоевский произносит свою «Речь», то здесь, ко-

нечно, мы слышим самого автора, и можно было бы подумать, что голос его монологичен, а речь неоспорима. Но стоит отличать от голоса автора в романе, вернее — от голоса образа автора, монологичного, как и голоса всех других персонажей, голос автора в устной речи. Здесь Достоевский изъясняется без посредника, как человек, поставленный перед другими людьми — реальными, присутствующими. То, что мы имеем пред собой в 1980 г., это оставшийся след, макет, бесплотный костяк того, что было высказано. Но сама незавершенность этого очерка оказывается лучшей из возможных форм, потому что позволяет нам услышать голос автора, а не его образа, встроеного в структуру романа и поэтому повинующуюся тем же законам, что и вымышленные герои, войти с ним в прямой диалог.

### «Русский скиталец». Ответ Аполлону Григорьеву

Но не пришло ли время перейти к самой теме речи Достоевского, к чувству Пушкина? Пушкин, по словам Достоевского, первым «отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в русской земле, того исторического страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем» (с. 348). В образе Алеко («Цыганы») Пушкин запечатлел того «русского скитальца», «лишнего человека», который, начиная с Евгения Онегина, а затем в лице Бельтова, Обломова, Рудина, Верзилова, Андрея Болконского заполнил историю русской литературы. Во всей первой части «Речи» мы вновь слышим отзвук идей Аполлона Григорьева, с которым Достоевский тесно сотрудничал в начале 1860-х гг. А. Григорьев писал в 1862 г. в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» о «великой и вполне уже очерченной физиономии первого цельного выразителя нашей сущности» — Пушкина. Заметим, что «Скитальчества» посвящены Достоевскому.

Но уже в 1857 г. в письме М.П.Погодину, а также в письме А.Н.Майкову (1858), в письме Н.Н.Страхову (1861) Аполлон Григорьев писал, что Пушкин — «это в самом деле наше первое, целостное, синтетическое выражение», «первое, но целое очертание нашей типической физиономии», «что полное и цельное сочетание стихий великого народного духа было только в Пушкине».<sup>9</sup>

Достоевский, следовательно, не только развивает здесь идеи Аполлона Григорьева, но и как бы продолжает свой диалог с критиком, умершим в 1864 г. Действительно, в том, что касается «беспочвенности» русского «общества», в особенности образованных слоев, Достоевский, не отказываясь полностью

от того, что писал ранее об этом явлении, сближается, кажется, с позициями Аполлона Григорьева, который в этом «возврате к почве» (к народу) «лишних людей» не видит отрицания европизации, поскольку отныне она стала составной частью этой «почвы», этого народа. Этот тип «русского скитальца», как признает теперь Достоевский, является «необходимым историческим явлением», а не случайным историческим происшествием. Но позиция Достоевского остается затронутой противоречием, что тонко почувствовал Глеб Успенский: с одной стороны, Достоевский видит в Алеко, Евгении Онегине подлинных и знаменательных русских типов, с другой — продолжает считать их «былинками, носимыми ветром».<sup>10</sup> Аполлон Григорьев более последователен, считая, что «былинки «пустили корни... в почву».<sup>11</sup> Является ли для Достоевского «русский скиталец», «лишенный корней» после реформы Петра Великого, представителем «русского духа»? Если это так и его стремление к «всемирному счастью», благодаря которому «он не примирится с меньшим», доказывают, что, по мнению Достоевского, он является представителем этого «русского духа». Тогда нужно принять реформы Петра Великого, и, приняв их, отбросить миф о «лишенном корней» русском интеллигенте. Ибо Достоевский, как мы увидим далее, близок к тому, чтобы принять эти реформы во имя самого «русского идеала». Он должен на расстоянии более 20 лет согласиться с Аполлоном Григорьевым, только ему всегда нелегко сдаться окончательно...

Однако, признав вклад «русских скитальцев», которых он уже не осуждает безапелляционно — даже протаскивая их втихомолку — Достоевский осознает вместе с Аполлоном Григорьевым, а также Чаадаевым, славянофилами, западниками (хотя у каждого из них свои пути и цели, различные намерения), что «беспочвенность» его не только несчастье, но и определяющее измерение «русского человека», шанс создать «подлинно всемирного человека», кого Достоевский в своей «Речи» справедливо называет Всечеловеком. Именно в этом смысле Достоевский, вслед за Аполлоном Григорьевым, видит в Пушкине синтетическое выражение русского духа, «пророческое» явление, показавшее русской нации ее призвание и будущее. Может быть, еще раз, именно дух объясняет необыкновенную идиллию, сплотившую 8 июня 1880 г. все лагеря, все группировки вокруг «Пушкинской речи»: как бы они не надрывались в своих журналах, все они стремятся к всемирности, через судьбы России все размышляют о судьбах мира.

## Терминология Достоевского. (всевропейское, всемирное, всечеловеческое)

И до Достоевского многие — Н.В.Гоголь, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, С.П.Шевырев, П.В.Анненков, И.В.Киреевский, А.А.Григорьев — отмечали у Пушкина «способность всемирной отзывчивости», умение «перевоплощаться в другую народность». По Достоевскому, эти пушкинские качества являются особенно характерными чертами «русской души», а не просто случайными личными качествами.

Но может, прежде чем обратиться к этой теме, было бы небесполезно уточнить некоторые вопросы терминологии, хотя бы для того, чтобы изъять из словаря, по крайней мере его провоцирующую и претенциозную часть. Прежде всего, Достоевский сам старался сузить значение своих выступлений за «арийское племя» или, в переводе на современный язык, за «европейскую», «западную» цивилизацию. Затем следует обратиться к его статьям 1861 г. о литературе, чтобы понять предназначение терминов, употребляемых Достоевским, которые так отягощают его стиль. Для него Россия, русская культура призваны «завершить призвание Европы». Европа его времени — и нашего? — была слишком разделенной, распадающейся на противоположные национальные самосознания, чтобы позволить себе посвятить все свои силы «действительно всемирному» идеалу. Хуже того: Европа в его время (вновь, как и в наше?) отказалась от своего собственного идеала, от своей великой «идеи». Франко-прусская война, Коммуна, социалистическая «антиидея», претензии папства на мировое господство — все показывает, по словам Достоевского, что Европа стала всего лишь полем руин, прекрасных руин, обожаемых руин, руин более дорогих русскому сердцу, чем европейцам Запада, занятых убийством друг друга и довершением разрушений. Европа, согласно Достоевскому, ничего не может дать духу, нужно вновь изыскивать человеческий идеал. Идея эта не нова в России. Часто при чтении славянофилов и западников, а также Чаадаева, столь влюбленного в п р е ж н ю ю, а не в современную сму Европу, — возникает впечатление, что самым их страстным пожеланием было исправить современный путь Европы, вернуть ее на прямую дорогу ее истории, с которой она сбилась. Настоящая Европа для них это, в конечном счете, Россия, призвание которой состоит в служении Европе вплоть до того, чтобы подменить ее собой. ... Вот почему следовало бы перевести «всевропейское», «всемирное», «всечеловеческое» словами «действительно европейское», «действительно мировое», «действительно универсальное»; употребление при-

ставки «все» (или еще «обще») имеет точный полемический смысл, это не простая стилистическая перегрузка, пустая напыщенность словаря. У русских, как в XIX в., так и сейчас, возникает ощущение какой-то фрустрации перед Западной Европой: тот, кто поступал в ее школу, разочаровался в настоящей Европе. В момент, когда они хотят продолжить ее, они чувствуют себя покинутыми, чуть ли не преданными ею. Остается спросить себя, существовал ли когда-либо «европейский идеал» и не требовали ли русские всегда слишком многого от Европы. Того, что она не могла, но...

Если русская литература и может предъявить свои права на «всемирность», то ни в коей мере не в силу таинственной воли Провидения, какого-либо высшего предопределения или «смысла истории». Все вызвано условиями, в которых эта литература, эта культура сформировались. Именно в России, впитавшей, сохранившей и давшей плодотворную почву для западно-европейской культуры, по мнению Достоевского, лучше всего знают европейских писателей — лучше, чем в родных странах. Именно там они целиком совершат свое предназначение. «Вы меня не знаете, зато я вас знаю...» — так, по меткому выражению Эжена-Мельхиора Вогюэ, Европа периодически вновь и вновь открывает для себя Россию. Однако я сразу отброшу всякое представление о «превосходстве» или «первенстве» русской литературы по отношению к европейской по очень простой причине, великолепно сформулированной в свое время самим Иваном Киреевским, самым значительным и глубоким мыслителем среди славянофилов, рассматривавших все же Россию как страну, существенно отличающуюся от Европы. «Безусловно отвергая все европейское,» — пишет он в 1845 г. (т.е. во время великого наступления славянофилов и их прорыва в печать, см. три первых номера «Москвитянина» за 1845г. — мы рискуем отказаться одновременно «от всякого участия в общем деле умственного бытия человека; ибо нельзя же забывать, что просвещение Европейское наследовало все результаты образования Греко-Римского мира, который в свою очередь принял в себя все плоды умственной жизни всего человеческого рода. Оторванное таким образом от общей жизни человечества, начало нашей образованности, вместо того, чтобы стать началом просвещения живого, истинного, полного, необходимо делается началом односторонним и, следовательно, утратит все свое общечеловеческое значение».<sup>12</sup> И еще из того же Киреевского: «Оттого мы думаем, что все споры о превосходстве Запада или России, о достоинстве истории Европейской, или нашей, и тому подобные рассуждения принадлежат к числу самых бесполезных, самых пустых

вопросов, какие только может придумать празднoлюбивое мыслящего человека». <sup>13</sup> Остается впечатление, что самые большие русские ненавистники Европы, или сегодняшнего Запада, больше всего нуждаются в той же Европе, в том же западном мире, которых им не хватает. Похоже, они пришли в уныние от того, что те оказались до такой степени не на высоте их устремлений, что снова обратили свой взор на родину, — которую должны были иногда покидать, — чтобы найти там идеал, изменивший им...

### «Способность к отзывчивости» Пушкина и «заблаговременное становление»

Не без колебаний я напомним, в чем состоит эта «способность к мировой отзывчивости», эта «способность перевоплощаться в другую народность», которой можно восхищаться у Пушкина. Все это хорошо известно после работ В.В.Виноградова, Г.А.Гуковского и многих других. Ограничусь несколькими примерами.

Пример Пушкина, как и вся история русской литературы, начиная с XVIII в., являются иллюстрацией этого явления, изученного Н.И.Конрадом, которого цитирует Д.С.Лихачев: <sup>14</sup> народы, которые в силу тех или иных исторических оснований упустили какой-то этап развития культуры, могут ускорить свое развитие, используя опыт соседних народов. Помимо того, продолжает Н.И.Конрад, может произойти как бы «становление наравне» культур, отстающих от передовых культур, «становление наравне», которое ни в коем случае не будет механическим переносом социальных и культурных форм государства передового в государство отсталое. <sup>15</sup> Примеры России, начиная с XVIII в., пример творчества Пушкина в начале XIX-го становится особенно понятным, так как Россия всегда была европейским государством и русская литература, как об этом настойчиво напоминает В.Аксенов, всегда была европейской литературой и никогда «искусством на краю земли», если тут вспомнить любопытное провинциальное выражение Алена Безансона. <sup>16</sup> Это необычайное ускорение культурного процесса, демонстрируемое Россией XIX века, сопровождается, в некоторых аспектах, не только «становлением наравне», но и «заблаговременным становлением», что я постараюсь наглядно показать в отношении Пушкина.

Из всех русских классиков в творчестве Пушкина, возможно, встречается больше всего иностранных заимствований, что делает его перевод, в осо-

бенности на французский язык, особенно трудным: иногда возникает ощущение, что перед нами эпигон Парни, или, в лучшем случае, Андре Шенье... Пушкин еще в 1834 г. жаловался на отставание русской литературы от Европы. Долго, пишет он в плане статьи «О ничтожестве русской литературы», Россия оставалась чужой для Европы. Но «высокая миссия была уготована России (...). Ее бесконечные равнины поглотили мощь монголов и остановили их победное шествие на самом пороге Европы, варвары не осмелились оставить за спиной поработленную Россию и возвратились в степи своего Востока. Образуящееся Просвещение было спасено разодранной, умирающей Россией...». Примечание Пушкина: «...но Европа в отношении нас всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна». <sup>17</sup> То же самое можно сказать о 1812 и 1941-1945 гг.: во второй и третий раз «разодранная, умирающая» Россия спасла Европу сначала от наполеоновского ярма, затем от гитлеровского варварства, и опять не ощутила особой благодарности... Достоевский уже говорил об этом в «Пушкинской речи»: Россия всегда служила Европе (с. 389).

В 1821 г. в «Послании Чаадаеву» Пушкин объявил о своем намерении «в просвещении стать с веком наравне». За 15 лет, с 1821 по 1836 гг., Пушкин усвоил пятивековой европейский опыт, Вольтер, Байрон, Шекспир, Гете, Данте — таковы «энциклопедии разных времен», позволившие Пушкину и русской культуре стать в один уровень с историко-культурными мирами Европы. На примере отношений Пушкина и Байрона можно проследить, как со скоростью метеорита Пушкин пересек, а затем и оставил позади европейский романтизм, в то время еще не прошедший все стадии своего развития в Европе, да и в России. Едва опубликовав в 1821 г. «Кавказского пленника», в котором он хотел нарисовать «безразличие к жизни и ее радостям, преждевременное старение души», характерные для байроновской молодежи всей Европы, он уже заявляет о своем недовольстве «односторонним взглядом», которым Байрон в своем «эгоизме» смотрит на действительность. В 1825 г., сосланный в Михайловское, он одновременно пишет пятую главу своего «романа в стихах» «Евгений Онегин» и «романтическую трагедию» «Борис Годунов». «Евгений Онегин» написан в стихах, в совершенно своеобразной форме, созданной на основе различных европейских образцов, а не в прозе, так как в то время не существовало русской прозы, способной послужить замыслам Пушкина: он сам создает эту прозу своими «Повестями Белкина». Пушкин вдохновился формой «Дон Жуана» Байрона, но лишь затем, чтобы потом преодолеть и опровергнуть байроновскую односторонность

и эгоцентризм, чтобы создать эту «энциклопедию русской жизни», которую вслед за Белинским так приятно узнавать в «Евгении Онегине». Можно даже сказать, что своим «романом в стихах» Пушкин провозглашает и опережает европейский реализм, романы Стендаля и Бальзака. Дело в том, что, к примеру, французским романтикам, всегда немного туманным, о чем бы они ни писали, в силу некоторой самонадеянности, корни которой следовало бы, возможно, искать во всемогущей традиции классицизма, приходилось все изобретать (или верить, что изобретают), не опираясь в своем порыве на чужой опыт. Пример Бориса Годунова еще более понятен. Превосходный романтик, Пушкин использует сюжет из национальной истории, полной «местного колорита» за два года до «Кромвеля» Виктора Гюго и его знаменитого «Предисловия» к «Эрнани», он вдохновлялся непосредственно Шекспиром, в особенности его формой (белый ямбический пентаметр, постоянные переходы от стихов к прозе), перехватив, таким образом, шекспировское знамя, которое со временем иенской школы европейские романтики подняли против закосневшего классицизма. Но, чтобы обогнать и завершить романтизм за пять лет до «Эрнани», претендующей его открыть... В отношении значения «Бориса Годунова» я сошлюсь на последние работы Г.А.Гуковского («Пушкин и проблемы реалистического стиля»), опубликованные в 1957 г., которые показывают, как в этой «истинной романтической трагедии», если обратиться вновь к терминам, употребленным Пушкиным, имевшим счастье не знать в свое время слова «реализм», — Пушкин создает коллективный персонаж, «коллективное лицо», народ, действия которого являются настоящим регулятором драмы; личные качества царя Бориса, пороки самозванца не имеют никакого веса в действии перед лицом «мнения народного». Это уход от внешней романтики, от чисто индивидуальных героев, опустошенных из-за своей бессодержательности (типа Эрнани: «Я сила, которая идет...») к коллективным героям, народам, нациям позволил Пушкину одновременно вспомнить и понять прошлое и, в особенности, показать его связь с настоящим, с обстоятельствами 1825 г., а также разгадать историческое будущее России. Николай I, вдохновясь тайным доносом своего агента Булгарина о пьесе Пушкина, не так уж и был неправ, когда советовал автору написать на его основе роман «в духе Вальтера Скотта». Пушкин в Борисе Годунове предоставляет народу ту же определяющую историческую роль, что и Вальтер Скотт в своих романах.

Легко бы было привести еще примеры, раскрывающие эту замечательную способность Пушкина перевоплощаться, перейти душой и телом в самые

разные стили и национальные сознания, и Достоевский, вслед за многими другими, говорит об этом достаточно убедительно. Пушкин не только имитировал — или пародировал — всех своих русских предшественников и современников. Он смог творчески и оригинально воспроизвести «дух» таких поэтов, как Андре Шенье, Гораций, Овидий, Вудсворт, Мюссе, Беранже, Петрарка, помимо процитированных пяти великих имен. Его Подражания Данте, Корану, классической латинской поэзии являются шедеврами перевода из одной культуры в другую.<sup>18</sup> В общем подражание, перевод в русской культуре, как и в культуре немецкой или культурах Центральной Европы, не играют той второстепенной роли, которая закрепилась за ними во Франции, — положение, частично объясняющее посредственный уровень искусства перевода на французский язык. Вместо того, чтобы быть изъятыми из творческого труда, перевод и подражание в этой части Европы существенно связаны с ним, они оплодотворяют и дают импульс таланту авторов и вкусу читателей.

Пушкинский подвиг и то, как он смог развить культуру своего времени, будут, возможно, еще лучше осознаны, если мы задумаемся над изначальным характером русской культуры, характером, самое «русское» в котором заключается в их особенной отмеченности, «катастрофичности», выделяющей их в восточной части Европы. «Что есть в действительности сила национального русского духа, если не его стремление через высшие цели, которые он перед собой ставит к настоящей всемирности, всечеловечности?» — восклицает Достоевский в своей Речи (с. 388), или еще: «...назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским может быть и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» (с. 389). Я хотел бы показать, что это стремление к всемирному, вдохновенность мировым смыслом, чувство, что несешь в себе все грехи мира, являешься свечой, сгорающей ради искупления всемирного зла (Борис Пастернак в «Докторе Живаго» по поводу революционной России), все это, временами едва выносимое, особенно для многих западных литераторов, все это характеризует условия, в которых с X века формировалась русская культура.

### **Всемирные черты русской культуры: посредничество Болгарии**

Иван Киреевский в 1845 г. завидовал гармоничному характеру культурного развития Западной Европы на протяжении столетий. Между самыми простыми формами жизни европейских народов и самыми мудренными ее выражениями можно наблюдать

«ту же внутреннюю постепенность, ту же органическую последовательность, какая существует между семенем, цветком и плодом одного дерева».<sup>19</sup> Ничего подобного в России, сокращается Иван Киреевский, — особенно после деспотичных реформ и насильственной искусственной европизации при Петре Великом... Помимо того, что эта концепция «органического» развития европейской культуры не выдерживает критики, и сами же славянофилы первыми противопоставляли европейской истории, основанной на классовой борьбе (Гизо), борьбе рас (Огюстен Тьерри), «мирное» развитие русской истории, по крайней мере, до Петра Великого. Русская история на самом деле не делалась внезапными скачками, незаконными переворотами, разрывом преемственности, в чем хотели бы уверить нас как вчерашние, так и сегодняшние славянофилы (например, в отношении реформ Петра Великого, в отношении Октябрьской революции). Чтобы объяснить те поворотные пункты, которые по-видимому делают русская история и культура, нужно вернуться к концепциям, развитым Н.И.Конрадом. Восточные и южные славяне, не будучи знакомы с античным обществом, основанном на рабовладении, не знали и культуры античного типа, подобно той, которая расцвела в греко-романском мире. Общество, перескакивающее через «этап» исторического развития, может, как мы видели, обратиться в поисках идеологической, политической, социальной, культурной «компенсации» к опыту, приобретенному соседними народами: что и произошло в X веке с Россией, обратившейся к староболгарской культуре, так же как и Болгария обращалась незадолго до этого к средневековой византийской культуре. С этого момента я последую за идеями, изложенными Д.С.Лихачевым в его труде (Развитие русской литературы X-XVII вв. Эпохи и стили. 1973).

Появление такой блестящей, такой «взрослой» зрелой культуры, какой была староболгарская культура, может показаться «чудом». Поражает в ней, помимо формирования, глубина содержания и решительный интерес к большим мировым проблемам, интересующим судьбы всего человечества, в данном случае — будущему христианства, пришествию Царства Божия. Эти черты она наследует от византийской культуры, но из-за самих «миссионерских» корней, связанных с обращением в веру южных и восточных славян. — эти черты древнеболгарской культуры приобретают совершенно необычайные форму и силу. Высокоразвитая византийская культура, отражающая действительность огромной византийской империи, простирающейся от Среднего Востока до Венеции, была многонациональной и располагала при этом всем наследием греческой и романской культур. В X веке центром тяжести европейского мира была Византия. Со своего рождения староболгарская литература представляет, таким образом, черты не узконациональные, а всеобъемлющие. Она недвусмысленно обращается ко всем людям и ко всем народам. Эта широта и открытость характера староболгарской культуры помогли ее усвоению во всех древнеславянских странах, тем бо-

лее, что старославянский является языком, близким к различным славянским языкам, более близким, к примеру, чем латинский для языков Западной Европы. Староболгарская культура заложила в основу всех культур южных и восточных славян черты, которые определяли ее: общеевропейский интерес, всеобъемлющие настроения. Болгарское «чудо» объясняется, если не считать выдающихся заслуг Кирилла и Мефодия, особенно тем фактом, что Болгария соседствовала с самыми просвещенными народами тогдашней Европы.

Староболгарская литература была посредницей, благодаря которой все другие литературы южных и восточных славян познакомились с византийской культурой, вследствие проведенной огромной работы по переводу с греческого на староболгарский язык. Болгария, создавая литературу, общую для всех христианских стран южных и восточных славян, создала конкретную связь между этими славянскими странами. Так создается литература-посредница и язык-посредник не только и не столько между Византией и славянскими народами, но, прежде всего, между этими славянскими народами. Ощущение принадлежности к духовной и культурной общности живо ощущалось, по крайней мере до XVIII в.

Для нас важно отметить, что начиная с Византии и через посредничество староболгарской культуры наднациональные тенденции византийской и болгарской культур перешли в числе прочих в древнерусскую литературу, унаследовавшую также дух интереса к человечеству во всей его полноте и, особенно, открытость и широту взглядов. В частности, практика перевода иностранных культурных памятников ни разу не изменила себе в своем значении и главной роли в течение всей истории русской культуры. Конечно, древнерусская литература, которую только сейчас стали изучать как следует, не сыграла той же роли, что и староболгарская, но из своего византийского и болгарского наследия современная, т.е. начиная с XVIII в. русская культура получила если не содержание, то по крайней мере настроения, европейский и всеобъемлющий «склад ума», который ей не пришлось ни изобретать, ни заимствовать в другом месте; они сложились в начале XVIII в. и, в конечном счете, позволяют понять успех реформы Петра Великого и такой внешне неожиданный поворот русской культуры в XVIII в. к Западной Европе: речь шла о том, чтобы изменить Европу, уменьшить раскол, пробел, созданный историческими обстоятельствами в течение предыдущих веков. «Присущее русской культуре ощущение своей европейской значимости и мирового значения ее человеческих интересов выразилось также в творчестве некоторых писателей и, в первую очередь, у Пушкина и Достоевского» — приходит к заключению Д.С.Лихачев.<sup>20</sup>

Я попытался показать, вслед за Д.С.Лихачевым, что русская культура в силу лишь особенностей своего складывания с самых древних времен, со своего появления, благодаря Кириллу и Мефодию, затем Петру Великому и «повороту к Западу» несет в себе как неодолимую генетическую черту всемирное предназначение: если она не будет ни «всемирной», ни «всечеловеческой», то она может оказаться разве что провинциальной. «Наш идеал есть всемирность» — восклицал Достоевский в финале своей «Речи» (с. 389). Самая характерная черта русской культуры, ее единственная устойчивая черта с древнейших времен и до наших дней, — ее способность к отзывчивости. Возможно, именно им объясняется, что Толстой и Достоевский одновременно и русские, и всечеловеческие. Когда их читаешь, обмануться невозможно — они русские и всемирные. Возможно, мы смогли бы перевернуть фразу и сказать: не то что они всемирны, хотя и русские, но что они русские, потому что всемирны... Ко времени появления древнерусской литературы Византия не только входила в Европу, но и являлась ее важнейшей частью. То, что древнерусская литература так тесно связана с литературой южных и восточных славян и с Византией, благодаря посредничеству Болгарии, является знаком ее «общевропейского и общечеловеческого» характера, по крайней мере в своих склонностях и возможностях, как и европейская литература Запада: к тому же не через посредничество ли этой самой Византии, начиная с XV в. и особенно после 1453 г. греческие и римские античные тексты в массовом количестве попадают на Запад. Поворачиваясь вместе с Петром Великим — который является всего лишь фигурой на острие движения, который стоит на гребне волны, но не управляет ею — к современной Западной Европе, и культуре, искусствам, вооружению и законам, Россия поняла, что для того, чтобы остаться (или снова стать) «всемирной», ей нужно было вернуться в истинную Европу, а не продолжать жить своими знаниями, воспоминаниями о Европе, которой не существовало уже к 1453 г. и последнее завещание которой в плане культуры было передано доренессансной Италии, что сделало возможным сам Ренессанс. Дважды — в 988 г., а затем при Петре Великом — Россия показала свою решимость стать «действительно общевропейской», частью Европы. Это предчувствие всемирного назначения русской литературы, которое реально обнаруживается в примере Пушкина, вынуждает Достоевского, помимо его желания, без возможности заявить это открыто, вернуться к своей былой враждебности к реформам Петра Великого и предположить, что эти реформы не были продиктованы простой утилитарной целью, что они были приняты русским народом, потому что шли в том же направлении, что и «общемировое предназначение», которое Достоевский с такой любовью делает судьбой русского народа (с. 388-389). Эти реформы, как и принятие христианства в 988 г., были прогрессом в общемировом смысле.

Пушкин, Гоголь, Достоевский — продукты Санкт-Петербурга. Подлинный дух России выра-

зился в основании Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург не родился по капризу «де-руссизированного» деспота, увлеченного Европой, он не был создан из ничего на пустом Финском заливе. Рискнем предложить парадокс: Санкт-Петербург родился из Москвы! Это не мираж, который рассеется однажды, как об этом мечтали славянофилы. Это не «Невгород», нечто неестественное и русское ничто, как утверждает Солженицын. Напротив, Санкт-Петербург самое яркое проявление постоянных настроений русского духа, тех, о которых мы отныне можем прочитать в тысячелетней истории России. Если Санкт-Петербург не русский, тогда и Пушкин, Гоголь, Достоевский не русские; но не русские и Маяковский, Анна Ахматова...

Таким образом, в «Пушкинской речи» Достоевский, кажется, готов преодолеть свои собственные противоречия и противоречия своего времени. Может быть, это случайное, мимолетное ощущение, что внезапно оказалось возможным обойти конфликты, препоны и парадоксы времени, и объясняет общее воодушевление, окружившее Достоевского, в то время, как он произносил свою речь? Достоевский допускает показательный и типичный характер русского «изгоя», залог его «всемирности», признает или, кажется, готов признать правомерность реформы Петра Великого, объявляет о «всечеловеческой» ценности настоящей великой русской литературы. Можно отметить, что он не прибегает, так сказать, к православной мессианской проповеди, хотя она когда-то близка ему (есть только один намек на «Христов Евангельский закон» (с. 390), в самом конце «Речи», сопровождающийся целым рядом оговорок, почти извинений). Возможно означает, что Достоевский старается осветить основные черты «русского духа», а не точное его содержание: после слов о русской восприимчивости было бы противоречием перейти к пропаганде исключительно «русской идеи»... Достоевский разгадывает смысл пушкинского примера, а через него — предназначение русской литературы... Самое поразительное и наиболее доступное нам, читающим эту речь, как бы слушающим ее 100 лет спустя, опираясь на исторические и литературные труды, в особенности труды Д.С.Лихачева, позволившие нам наконец лучше узнать русское прошлое, чем это могли сделать утописты (как славянофилы, так и западники) — это необычайная правда, правота, в общем, предчувствий Достоевского. Отметим однако, что программа, начертанная Достоевским для русской культуры, что идеал, обрисованный им для русского человека, лежит в будущем — стать (а не быть) русским, стать настоящим и вполне русским, значит стать только в конце концов всечеловеком. Это предполагает, как во времена Достоевского, так и в наше время, что задача все еще впереди... Никто не может сегодня и не мог во времена Достоевского сделать отсюда вывод о каком-то внутреннем «совершенстве» или превосходстве русского человека.

Наконец, я хотел бы закончить некоторыми практическим предположениями, вытекающими из принципов, высказанных Достоевским. Эти настро-

ения, характеризующие, согласно Достоевскому, «дух русского народа» — способность к всемирной отзывчивости, способность воплотиться в духе других наций, требование всемирности, которые поверяются русской культурой, по природе своей не совместимы с любым шовинизмом в культуре, с каким-либо духовным провинциализмом. Нет ничего более противного духу русской литературы, культуры, чем препятствия для их внутренней восприимчивости: всякая форма цензуры, всякая официальная враждебность тому, что приходит из-за границы, любая кампания против «космополитизма» или против так называемых «космополитов», вчера, как и сегодня, противны духу русской культуры, являются преступлениями против нее. Существование русской литературы имеет в себе что-то от чуда, настолько драматично напряжение между могучим государством, одновременно современным и политически отсталым, и тонкой прослойкой, очень культуривированной, носительницей культурной традиции. Россия вчерашняя и нынешняя превосходно отражена в своей культуре: в ней можно встретить бок о бок, или даже внутри одного произведения, хрупкий цветок культуры этого времени и самое грубое выражение ненависти к проявлениям разума и человечности.

Как бы то ни было, в XIX в. русская литература сказала новое слово, отозвавшееся во всем мире. Как бы то ни было, именно в России идеалы всемирного братства, сознание того, что человечество образует все — встретили самый большой отклик. Рискован еще на один парадокс: как объяснить успех в России марксистского мессианизма, если не этой восприимчивостью, этим устремлением к всемирному, которое является фатальной чертой, могли бы мы сказать, русской культуры? Сегодня инакомыслящие в России вспоминают о всемирном. Но я хотел бы закончить, напомнив о личности Льва Зиновьевича Копелева, который сегодня<sup>21</sup> защищает право на гласность и право личности во имя тех же идеалов всемирности, которые в 1920-1940 гг. сделали из него убежденного коммуниста-интернационалиста. То, что на дорогах Восточной Пруссии он в 1945 году с лихвой столкнулся с организованными репрессиями, возмутившими его сознание, требующее интернационализма. В этом проявилось типично русское понимание универсальности человеческих идеалов, в высшей степени русская идея, заключающаяся в том, что нельзя разделить интеллектуала, человека культуры, а здесь — великого гуманиста, военного и гражданина мира. Не случайно, никак не по слабости (если это слабость, то потому, что власти удалось в большей мере, чем в XIX веке, лишить людей культуры уважения в глазах сограждан) диссидентами становятся сегодня, главным образом, интеллигенты: может быть это точное явление последнего миража XIX в., но в

России еще верят, что культура обязывает и можно на одном дыхании говорить о Пушкине, о его творчестве, и о братстве всех людей... И поразительно видеть, как Л.З.Копелев в своей последней книге «И сотвори себе кумира» ищет выражение своего идеала в цитатах из «Пушкинской речи»: «Быть настоящим русским — это быть всечеловеком».<sup>22</sup>

<sup>1</sup> Besancon, Alain. *l'art de l'irrealisme socialiste // Culture et pouvoir communiste, l'autre face de «Paris-Moscou»*. Paris: Recherches. 1979. P. 31.

<sup>2</sup> Cadot, Michel. *La Russie dans la vie intellectuelle francaise de 1839 a 1856*. Paris, 1967.

<sup>3</sup> Достоевский Ф.М. Полное собрание худож. произведений. Т. 1-13. М.;Л., 1926-1930. Т. 12. С. 377. Ссылки на страницы в тексте даются по этому изданию.

<sup>4</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. Изд. 4. С. 38.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Зунделович Я.О. Романы Достоевского. Статьи. Ташкент. 1963.

<sup>7</sup> Бахтин М. Цит. С. 52.

<sup>8</sup> Там же. С. 48.

<sup>9</sup> Григорьев Ап. Материалы для биографии. Пг., 1917. С. 52, 182, 215, 281.

<sup>10</sup> Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1990. Т. 2. С. 405.

<sup>11</sup> Григорьев Ап.А. Литературная критика. М., 1967. С. 483-484.

<sup>12</sup> Киреевский И.В. Обзорение современного состояния литературы (1845) // Полн. собр. соч. В 2-х тт. / Под ред. М.Гершензона. ММ., 1911. Т. 1. С. 155-156.

<sup>13</sup> Там же. С. 1577.

<sup>14</sup> Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973. С. 11.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> См.: Примечание 1.

<sup>17</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. 7. М., 1964. С. 308.

<sup>18</sup> Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941. 7 484-485 и др.

<sup>19</sup> Киреевский И.В. Цит. С. 145.

<sup>20</sup> Лихачев Д.С. Цит. С. 39.

<sup>21</sup> С 2 ноября 1980 г. Лев Зиновьевич Копелев находится на Западе, будучи выслан, как до него Василий Аксенов, сын Евгении Гинзбург, а сегодня — Владимир Войнович (прибывший в Германию 21 дек. 1980 г.). 12 января 1981 г. Лев Зиновьевич Копелев и Василий Аксенов были лишены советского гражданства. Эта новость была объявлена 22 января в первую годовщину высылки в Горький академика Андрея Сахарова, против которой они первыми высказывали протест. Их пример еще одно проявление преследования в официальной России русской культуры и еще одно доказательство размеров «чудесного» существования последней.

<sup>22</sup> Копелев Л. И сотвори себе кумира. Ann Arbor; Ardis, 1978. P. 150.

Перевели с французского Зоя Панова и Александр Лавров.

# «ЗАПИСКИ О МОСКОВИИ» ДЕ ЛА НЕВИЛЛЯ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

АЛЕКСАНДР ЛАВРОВ

В 1698 г. в Париже у книгоиздателя Анбура была опубликована небольшая, всего в 12-ю долю листа, книжка. Ее полное заглавие гласило: «Любопытное и новое известие о Московии содержащее: Современное состояние этого государства. Походы московитов в Крым, в 1689 г. Причины последних смутений. Их нравы и религия. Рассказ о путешествии Спафария в Китай сухопутным путем»<sup>1</sup>. Имя автора побывавшего в загадочной Московии за девять лет до этого — де ла Невилль — означено было в конце «Посвящения Людовику XIV», открывавшего книжку. У книги была удивительная судьба — на протяжении двух веков она носила на себе клеймо подделки или умело сработанной литературной мистификации, оставаясь при этом настольным изданием для всех, интересовавшихся предпетровской Россией.

Момент для выхода книжной новинки был выбран, конечно же, не случайно. Парижские читатели смогли познакомиться с ней тогда, когда все внимание Европы было привлечено к Великому посольству, в составе которого путешествовал и укрывшийся под именем Петра Михайлова сам русский царь. Поэтому «Любопытное и новое известие» (в дальнейшем, согласно русской традиции, мы будем называть его «Записками о Московии» или просто «Записками») не осталось незамеченным и даже заслужило рецензию в амстердамском «Журнале ученых».<sup>2</sup> Конечно, это не была рецензия в современном смысле этого слова, содержащая критические замечания или просто какой-то элемент рефлексии по поводу разбираемого издания; скорее, ее можно сравнить с конспектом книги, довольно точно знакомившим читательскую публику с содержанием книги. Что же касается читателей, то с ними «Запискам» Невилля определенно повезло — сразу после выхода они оказались в поле зрения ближайшего окружения Петра Великого.

О резкой реакции приближенных царя мы узнаем из письма амстердамского бургомистра Николаса Витсена (1641 — 1717), отправленного им 22 января 1699 г. самому Георгу—Вильгельму Лейбницу:

«Господин де ла Невилль был очень плохо осведомлен о многом в своих «Записках», и московские послы жаловались мне и другим на это»...<sup>3</sup>

Ученого голландца Витсена связывал с Лейбницем давний и пристальный интерес к России, поэтому многое в этом кратком сообщении, по-видимому, так и останется понятным только обоим корреспон-

дентам. Почему великие послы жаловались именно амстердамскому бургомистру, который никак не мог отвечать за публикацию книги, вышедшей в свет не только в другом городе, но и в другом государстве? Можно предположить, что они надеялись склонить Витсена к тому, чтобы он дал опровержение в западной печати.<sup>4</sup> Однако это предположение нечем подтвердить, поскольку такого опровержения не последовало.

Остается возможность восстановить происшедшие события по аналогии. Два года спустя — в 1700 г. — подобный дипломатический конфликт вызовет публикация в Вене «Дневника путешествия в Московию» секретаря имперского посольства Иоганна Георга Корба. «Таково поганца и ругателя на Московское государство не бывало; с приезде его сюда нас учинили барбарами», — писал в Москву русский посол в Вене князь П.А. Голицын, подразумевая, впрочем, не истинного автора «Дневника», а самого имперского посла Игнатия фон-Гвариента, которому он приписывал составление возмутительной книги.<sup>5</sup> Своеобразие положения заключалось в том, что автор «Дневника» выступил в нем как объективный, отдающий должное Петру, наблюдатель. Русская сторона, однако, была непримирима — в основном, из-за подробных описаний стрелецких казней и личного участия в них самого самодержца и его окружения.

Тем более должны были насторожить спутников Петра по Великому посольству следующие строки из сочинения Невилля:

«Царь Петр развлекается, стравливая своих фаворитов друг с другом, они часто убивают друг друга из зависти, чтобы не потерять милости. Зимой он приказывает прорубить большие проруби во льду и заставляет самых знатных вельмож ездить по нему в санях, где они проваливаются и тонут из-за тонкого нового льда».<sup>6</sup>

Подобные пассажи — кстати, весьма далекие от реальных нравов петровского окружения, — не испугались в глазах русских дипломатов даже лестными словами о надеждах, возлагаемых на юного царя, при котором России суждено «великое будущее». Зато слова о «жестокости», являющейся «единственным достоинством» царя Петра, также не оставались незамеченными.<sup>7</sup>

Для характеристики того места, которое уделялось скандальной книге в деятельности Великого посольства, необходимо вспомнить об обстоятельствах, сопутствовавших переговорам московских послов с амстердамским бургомистром. Именно Витсену Генеральные штаты поручили деликатную миссию — объявить Петру, что Нидерланды не смогут принять участия в антитурецком союзе, создание которого было одной из важнейших целей Великого посольства. Это был переломный час в судьбе посольства,

когда поставлен был вопрос о пересмотре всей внешнеполитической доктрины.<sup>8</sup> В ряду с этими вопросами обсуждалась и книга Невилля, в первый раз удостоенная, таким образом, внимания сильных мира сего.

Мир с Османской империей, заключенный в 1700 г. и начавшаяся тогда же Северная война, привели к умножению дипломатических и культурных связей России с Западом. Зарубежная литература о России (так называемая «Россика») становится все более и более многочисленной, при этом она внимательно читается и изучается в России. По иронии судьбы, получилось так, что одним из первых русских читателей «Записок о Московии» оказался один из их героев — Андрей Артамонович Матвеев (1666 — 1728).

Дипломат, библиофил, государственный деятель — А.А. Матвеев был незаурядным явлением и среди «птенцов гнезда Петрова». Сын ближнего боярина, главы Посольского приказа и обрусевшей шотландки, Матвеев может быть знаком читателю по портрету работы Рибо в Петровской галерее Эрмитажа (на парадном портрете изображена его жена, урожденная Аничкова). К концу службы Матвеев дослужился в старых чинах до окольниковца, а в новых — до сенатора и тайного советника, получил графский титул. Невилль застал Матвеева в 1689 г. в Москве в начале пути, когда тот принимал его в русской столице.

«Этот молодой человек очень умен, любит читать, хорошо говорит по латыни, очень рад узнать новости о событиях в Европе и имеет особую склонность к иностранцам», — пишет Невилль, — «он имел несчастье, вернувшись из ссылки, видеть убийство своего отца во время восстания Хованского» (т. е. стрелецкого восстания 1682 г., «хованщины» — А.Л.)<sup>9</sup>.

Прочитать эти строки Матвеев мог уже в 1699 г., когда Петр послал его в столицу тогдашней европейской дипломатии Гаагу, а затем — в Лондон и Париж. Однако в библиотеке А.А. Матвеева оказались не первое (Париж, 1698) и не второе (Амстердам, 1699) издания книги Невилля, опубликованные на французском языке, а только пятое издание, вышедшее в 1707 г. в Утрехте: «Книга вояж Нивстадов с Полшы в Москву на галанском языке в осмушку».<sup>10</sup> Странное написание имени автора объясняется тем, что голландский издатель, недолго думая, перевел и фамилию автора — Neuville — новый город — Nieuwstad (голл.). Очевидно, сказалось отношение к фамилии автора, как к произвольно выбранному псевдониму, которое не грех было и переиначить — отношение, о происхождении которого еще предстоит сказать.

На склоне лет, после 1721 г., А.А. Матвеев обратится к истории своего времени. Результатом станет «История о стрелецком бунте», уже в первых стро-

ках которой автор даст скрытую ссылку на сочинения Невилля и Корба:

«... Жестокосердаго онаго стрелецкаго бунта варварское действие без сомнения у снискательных людей, по прошедшем том незастарелом времени, еще в свежей памяти донныне содержится, как уже то на иностранных языках при цесарском и при королевских европейских дворах подробно печатными книгами изображенная гласитмя».<sup>11</sup>

...Скрытая переключка с Невиллем проходит через всю «Историю» однако автор ни разу не называет по имени своего старого знакомого — автора «Записок о Московии».<sup>12</sup> Очевидно, со времени дипломатического инцидента, вызванного «Записками», отношение московских властей к Невиллю оставалось настороженным.

Но если в России книга Невилля приобрела своего рода ореол запретности, то во Франции она стала жертвой ученого гиперкритицизма. Необходимо сразу сказать, что судьба «Записок о Московии» не уникальна — подобные обвинения выдвигались и по адресу других записок иностранцев о Русском государстве. Так, в 1724 г. в одном из многотомных компилятивных сочинений по истории французской литературы было сказано буквально следующее:

«Есть записки, которые были сфабрикованы, чтобы привлечь внимание публики, как например... «Путешествия в Московию и Татарию» некоего Яна Стрейса, при составлении которого кавалер Шарден и некоторые другие так хорошо показали свою лживость».<sup>13</sup>

Попробуйте догадаться, что речь здесь идет о голландском матросе Яне Стрейсе — очевидце Рязанского восстания и авторе «Трех путешествий», чье пребывание в России подтверждается дипломатическими документами!

Дополнительную причину подозрений следует видеть в том универсальном характере, который приобрела «литература путешествий» в конце XVII — начале XVIII вв. В рамки путевых заметок оформляется и социальная сатира, как это случилось с «Путешествием Гулливера» (1726), и социальная утопия, как это было с «Робинзоном Крузо» (1719), автор которого, кстати, был знаком с А.А. Матвеевым и оставил небольшое компилятивное сочинение о России.<sup>14</sup> На таком литературном фоне, когда границы известного европейцам мира быстро расширялись за счет все новых и новых неисследованных земель, не трудно было заподозрить в подделке всякое «Путешествие» или путевой дневник, содержащий слишком много нового или неожиданного.

Характерной была и фигура критика, впервые заподозрившего «подделку» — им был ученый аббат Ленге дю Френуа, составивший многотомное пособие о методе и литературе исторической науки. Он обратил внимание на сходство имени автора «Запи-

сок о Московии» и одного из псевдонимов плодovitого литератора Адриана Байе, родившегося, к тому же, в городишке Невилль.<sup>15</sup> Подозрение усугублялось тем, что Байе, никогда в России не бывавший, оставил к тому же словарь всех видов псевдонимов, куда включил и собственные.<sup>16</sup> Окончательный вердикт был беспощадным:

«Байе, который, кажется, имел намерение написать обо всем, выпустил также Описание Московии, которое было опубликовано в Париже в 1698 г. под именем де ла Невилля — труд настолько недостовверный, насколько этого можно было ожидать от человека, который видел Московию разве что из своего кабинета».<sup>17</sup>

Подобная атрибуция не могла не повредить «Запискам о Московии» — ведь они были объявлены компиляцией, в которой не было ничего оригинального, авторского, личного. Тем не менее, подозрения не были опровергнуты сразу. Вероятно, Невилль, проведший всю свою жизнь при различных европейских дворах, был к тому времени уже почти забыт на родине. Первое выступление в защиту авторства Невилля прозвучит только в 1725 г., когда Петербург прощался с телом Петра Великого, но и то не в печати, а в частном письме. Впрочем, это письмо настолько интересно для характеристики знаний о России во Франции XVIII века, что его стоит процитировать с наибольшей полнотой. Итак, 11 марта 1725 г. адвокат парижского парламента Матье Маре (1665 — 1737) писал президенту Дижонского парламента Буйе:

«Смерть царя заставила меня перечитать книжку под названием «Любопытное и новое известие о Московии», изданную в 1688 г. у Анбура, в 12°, и посвященную королю; там есть очень любопытные подробности о смятениях 1687 и 1689 гг. (Маре ошибся, следовало бы: 1682 и 1689 гг. — А.Л.) и об интригах царевны Софьи, которая хотела избавиться от царя Петра, но ее заговор был раскрыт. Автор ее Фуа де ла Невилль, родом из Бове, который был одним из самых видных путешественников и дипломатов, каких мне только случалось видеть. Он сообщает в своем послании королю о части своих путешествий, и, в частности, о том, которое он предпринял в Московию как представитель короля, по приказу маркиза де Бетюна, посла в Польше. Стоит лишь прочесть само послание и саму книгу, которая невелика, чтобы узнать правду об этом.»

Далее следует несколько резких, но в данном случае справедливых, суждений о «нелепостях», изрекаемых подчас профессиональными историками и библиографами:

«Верь после этого нашим библиографам! Если он недолюбливает Байе, то приписывает ему книгу, которую он никогда не писал, тем самым приписывая ей автора, который таковым не был. Из-за того, что Байе издал свою «Историю Голландии» под именем де ла Невилля, он хочет приписать ему книгу,

написанную истинным де ла Невиллем, который был в Московии по приказу короля, и все видел своими глазами; и после этого он говорит, что эта книга написанная Байе, который видел Московию разве что из окна своего кабинета. Таким образом, Ленгле это лгун и обманщик, никогда не читавший самой книги. Я знаю одного человека из Бове, который был хорошо знаком с этим господином де ла Невиллем, который звался Фуа по своему фамильному прозвищу, эта фамилия с честью существует в Бове и по сей день».<sup>18</sup>

Несколько позже к Маре присоединился один из тех библиографов, для которых он не жалел бранных слов — Ансийон, отделивший в своем справочнике Невилля — «покойного автора» «Записок о Московии» — от Невилля-Байе и других литераторов, носивших это имя.<sup>19</sup>

Авторство Невилля было подкреплено в середине XVIII в. авторитетом Вольтера. Обратившийся к русской истории еще в ходе работы над «Историей Карла XII», Вольтер создал в ней исторически достоверный образ Петра Великого. Именно «фернейскому изгнаннику» поэтом был сделан при императрице Елизавете Петровне высочайший заказ на официальную историю царствования Петра. Итогом работы стала «История России в царствование Петра Великого», заметно уступавшая предыдущему труду. Если в «Истории Карла XII» московский царь выступает на фоне своего соперника, то в «Истории России» его образ дробится, история страны постоянно оттесняет на второй план биографию преобразователя. Так или иначе, к своей новой работе Вольтер подошел во всеоружии, освоив как иностранные, так и русские источники по событиям петровского времени.

Над собиранием последних в библиотеках и архивах Москвы и Петербурга трудился целый коллектив ученых, в составе которого были академики М.В. Ломоносов и Г.-Ф. Миллер. Ломоносов составил для Вольтера специальное «Описание стрелецких бунтов в правление царевны Софьи». Судя по тому, что в нем были использованы только сочинения А.А. Матвеева, П.Н. Крекшина и датского резидента в Москве Бунтенанта фон Розенбуша, книга Невилля осталась Ломоносову неизвестной.<sup>20</sup> Зато в библиотеке другого российского корреспондента Вольтера — Герарда-Фридриха Миллера — было даже два экземпляра «Записок о Московии» — английский перевод (Лондон, 1699) и гаагское издание 1699 г.<sup>21</sup> Именно последнее находилось и в библиотеке Вольтера и было использовано им в своем труде.<sup>22</sup>

Несмотря на это совпадение, остается неясным, самостоятельно ли познакомился Вольтер с «Записками о Московии» или последовал в данном случае данному ему ученому совету. Мне удалось, благодаря любезности Л.Л. Альбиной, ознакомиться с самим экземпляром «Записок о Московии» из Фере-

нейской библиотеки, хранящимся сейчас вместе с другими книгами Вольтера в Отделе рукописей и редкой книги ГПБ. Книга абсолютно чиста — в ней нет записей прежних владельцев, маргиналий самого Вольтера, даже каких-либо отчеркиваний на полях. Очевидно одно: Невилль и его книга пользовались в глазах ференейского затворника определенным авторитетом. Вольтер прямо ссылается на «польского посланника де ла Невилля, находившегося тогда (в 1689 г. — А.Л.) в Москве и видевшего своими глазами все, что происходило». Приводя восторженную характеристику боярина князя Василия Васильевича Голицына, он замечает, что «эта похвала принадлежит де ла Невиллю, посланному в ту пору из Польши в Россию; а похвала иностранцев вызывает меньше всего сомнений.»<sup>23</sup> Даже когда Невилль допускает очевидные ошибки, автор «Истории России в царствование Петра Великого» обвиняет не его самого, а недобросовестных информаторов.

Вряд ли Вольтер знал о Невилле больше, чем тот сообщает сам о себе в «Записках о Московии». К тому же, ференейский затворник мог знать и о подозрениях, связанных с предполагаемым авторством Байе. Тем более показательна для нас его позиция по отношению к «Запискам о Московии». Сосредоточивший в своих руках наиболее полный и разносторонний свод источников о Петре Великом за весь «осмнадцатый век», Вольтер имел возможность сравнивать и сопоставлять свидетельства «Записок» со многими другими свидетельствами современников. Тем не менее, он часто прямо следует за Невиллем, гримируя заимствованные пассажи ссылками на «записки, присланные из Петербурга». Эта особенность труда Вольтера — широкое использование предшествующей французской литературы о Петре Великом и России — была полностью раскрыта лишь в трудах последнего времени.<sup>24</sup>

Время Екатерины II принесло новые веяния сравнительно с царствованием ее предшественницы, заказавшей литературный памятник своему отцу. Если раньше Невилля можно было заподозрить в неоложности по отношению к Петру Великому, то теперь его обвиняют уже в предвзятости по отношению к царевне Софье Алексеевне и тому же князю В.В. Голицыну. Последнее неудивительно: Екатерина Вторая видела в царевне свою предшественницу на троне. В 1767 г. окружение Н.И. Панина надеялось отстранить императрицу от власти, как это было сделано с царевной Софьей во время дворцового переворота 1689 г., посадив на престол малолетнего Павла, при котором должно было учредить регентство. Из архивов были извлечены даже документы XVII в., которые должны были послужить прецедентом для переворота.<sup>25</sup> Не случайно, что впоследствии Екатерина II в своем «Антидоте» (буквально: противоядии) — опровержении на книгу французского путешественника аббата Шаппа д'Отроша — положительно отзывался о правлении и государственной деятельности царевны Софьи Алексеевны.<sup>26</sup> В это же время создает свой портрет царевны Софьи А.П. Антропов (1716 — 1795).

Поэтому посетивший Россию в то время англичанин Уильямс Кокс увидел главный недостаток своего предшественника — автора «Записок о Московии» — в тенденциозности по отношению к сестре Петра Великого:

«Этот писатель (Невилль — А.Л.) представляет себя послом короля Польши при русском дворе. И мы даже верим ему в том, что он был в Москве, когда Софья была свергнута. Его неведение не делает его «Записки» сомнительными; для подтверждения своих свидетельств он прилежно цитирует врагов царевны. Однако каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с русской историей, с первого взгляда замечает грубые ошибки в безвкусные басни, ибо он представляет Софью ужасным образом, как будто бы речь идет о Тиберии или о Цезаре Борджиа, и представляет дело так, будто бы сам находился при разговорах между ней и князем Голицыным; так, он утверждает, что они хотели венчаться друг с другом, заставить Петра уйти в монастырь, а, если это не получится, убить его, объявить детей Ивана внебрачными и предъявить свои права на трон. И, для того, чтобы эти проекты не казались дикими, он добавляет, что князь Голицын имел блестящие перспективы: он намеревался, после объединения церквей, если бы ему удалось, как он надеялся, пережить царевну Софью, получить разрешение римского папы на то, чтобы передать трон своим собственным детям, минуя прижитых от брака с Софьей... Эти лапландские сказки не требуют опровержения, потому, что сочинивший их писатель не заслуживает доверия, когда он пишет о том: чему был свидетелем, как величает его Вольтер. Истина заключается в том, что польский посол — вымышленная фигура; составителем книги был Адриан Байе, место рождения которого — Невилль, который не был в России. Новости пришли в Гаагу в 1699 г. (Кокс был знаком только со вторым изданием книги Невилля, вышедшим в Гааге в 1699 г. — А.Л.) и, вероятно, были почерпнуты из рассказов нескольких особ, сопровождавших царя в 1697 г. в Голландии...»<sup>28</sup>

Полемика вокруг авторства «Записок о Московии» приняла общеевропейский характер, когда в нее включились немецкие библиографы. Г. Штук прямо отнес «Записки» к сочинениям Байе,<sup>29</sup> а К. Мейерс присоединился к нему:

«Составитель «Записок...» был не польский посланник, некий Байе, назвавший себя по месту своего рождения и никогда не бывавший в России. Тот, кто читал саму книгу, и особенно Посвящение, не может не прийти к этому выводу.»<sup>30</sup>

Только новый, девятнадцатый век принес некоторую передышку в этих непрестанных критических нападках. Здесь нужно с благодарностью назвать два имени — французского и русского ученого. Одним из них был М. Барбье, библиотекарь Наполеона

и автора классического французского словаря псевдонимов, не потерявшего своего значения и до сего дня. На страницах последнего Невилль был восстановлен в правах автора и путешественника в Москву.<sup>31</sup> Другим был директор Императорской публичной библиотеки граф М.А. Корф, лицейский друг Пушкина. Составляя для поэта список рекомендательной иностранной литературы о Петре для работы над «Историей Петра Великого», Корф включил туда и «Записки о Московии».<sup>32</sup> Нет никаких свидетельств в пользу того, что Пушкин успел воспользоваться этим советом, однако обостренный интерес к иностранным сочинениям о России позволяет предположить, что он мог это сделать.

Историки XIX в., овладевшие важнейшими историковедческими навыками, уже не нуждались в старых легендах об авторстве того или иного источника. Исторический источник можно было анализировать теперь как целое, отбрасывая несостоятельные атрибуции. По этому пути пошел Ф.П. Аделунг, оставивший фундаментальную библиографию иностранных сочинений о России.<sup>33</sup> Разбирая подготовительные материалы для сочинения Аделунга, можно проследить, как ученый собирал данные в пользу версий о подлинности и о подложности «Записок», чтобы в конечном счете склониться к первому варианту.<sup>34</sup> В пользу Невилля высказался в «Истории царствования Петра Великого» Н.Г. Устрялов<sup>35</sup>, а М.П. Погодин, посвятивший «Запискам о Московии» небольшой историковедческий экскурс, находит их автора...» наблюдателем беспристрастным».<sup>36</sup>

Итог спорам о «Записках о Московии» подвели научные труды, появившиеся в нашем веке. А.И. Браудо указал на упоминания о Невилле в французских дипломатических документах, переписке Г.-В. Лейбница с Н. Витсенем и шведским ученым И. Спарвенфельдом и приведенном выше письме М. Маре.<sup>37</sup> Благодаря изысканиям немецкого слависта Фердинанда Грененбаума к этим источникам прибавились «Мемуары» Далерака и новые архивные документы из французского архива Министерства иностранных дел.<sup>38</sup> Дополнить наши сведения об авторе «Записок о Московии» позволяют и английские дипломатические документы, газеты конца XVII в. и «Дневник» поляка Казимира Сарнецкого, привлеченные английской исследовательницей Изабель де Мадаряга.<sup>39</sup> В результате мы знаем о Невилле куда больше, чем он считал нужным сообщить о себе в своем сочинении. Его дипломатическую и разведывательную деятельность в пользу «короля—солнца» и его союзников можно восстановить если не по месяцам, то по годам. Таким образом, старый спор можно считать законченным, хотя голоса скептиков подчас еще раздаются. Тем не менее, напряженность и длительность этого спора свидетельствуют о том, что он носит существенный характер. Речь шла, конечно же, не о научной истине — к моменту начала

спора представление о ней было еще вполне размытым, да и не всех она интересовала.

Сочинение Невилля было первым оригинальным французским описанием Московии после девяностолетнего перерыва, последовавшего за появлением сказаний Маржерета и Делавилля о Смутном времени. В наименьшей степени зависевшее от предшествующей литературы, как французской, так и западноевропейской в целом, сочинение Невилля тем не менее содержало своего рода концепцию, хорошо гармонирующую с внешнеполитической доктриной Франции при Людовике XIV. Русские (москвиты) объявлялись «варварами», что полностью оправдывало нежелание французских политиков того времени выступать в союзе с Россией против своего давнего союзника — Османской империи. Этот традиционный внешнеполитический курс, в основе которого лежала еще «восточная политика» Генриха IV, находит подтверждение в рассуждениях автора о том, что по своей религии русские — «архисхизматики» (то есть «сверхраскольники»), противопоставляющие католичеству только свои заблуждения. Отсюда идет и игнорирование культурного своеобразия предпетровской России, которое приобретает у Невилля исключительный характер. В этой антитезе — «благочестие — варварство» — одно из звеньев впоследствии будет незаметно подменено, и противопоставление западноевропейской цивилизации отечественному варварству станет одним из постоянных мест позднейшей французской литературы о России. Характерно, что, например, английский «образ России» строился на другой паре противоположностей — противопоставлялись английские вольности и русский деспотизм.<sup>40</sup>

Поэтому опровержения или оправдания «Записок о Московии» очень рано приобрели значимый характер. Оправдывался или отрицался определенный «образ России», который несла в себе книга. На мой взгляд, только отталкиваясь от этого цельного образа, осмысленного и раскрытого в своих существенных сторонах, можно изучать и использовать в дальнейшем этот ценный источник.

<sup>1</sup> Neuville de la. Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. Contenant l'etat present de cet Empire, les Expéditions des Moscovites en Crimée, en 1689. Les causes des derniers Révolutions. Leur moeurs et leur Religion. Le Recit d'un Voyage de Spatarus, par terre, a la Chine. — Paris; chez Anbours, 1698. О рукописях, изданиях и русских переводах «Записок Московии» см.: Лавров А.С. «Записки о Московии» де ла Невилля: автор, рукописи, печатное издание // Книга в России XVI в. Материалы и исследования. Л., 1990. С. 62—72.

<sup>2</sup> Journal des scavans. Amsterdam, 1699. Т. 26. Juin, P. 416—421. Рецензия выявлена Н.А. Копаневым (Копанев Н.А. Французская книга и русская культура в середине XVIII века. Л., 1988. С. 13).

<sup>3</sup> Герье В. Сборник писем и мемориалов Лейбница, относящихся к России и к Петру Великому. СПб., 1873. № 35, С. 41.

<sup>4</sup> В пользу последнего предположения свидетельствует и то, что и до этого Витсен выполнял подобные поручения русского правительства. Именно ему было поручено организовать печатание в Амстердаме портретов Софьи Алексеевны с латинскими подписями, которые должны были распространяться в Западной

Европе с пропагандистскими целями. Начало связей Витсена с Россией относится к 1664—65 гг., когда он впервые побывал в Москве. Впоследствии Витсен издал основанную на многочисленных русских источниках книгу «Описание Северной и Восточной Татарии» (1692), карту Сибири, посвященную царям Ивану и Петру Алексеевичам. Петр Великий увековечил его имя на географической карте, назвав в его честь остров, расположенный рядом с Новой Землей.

5 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 1. Господство царевны Софьи. СПб., 1858. С. 328. Прим. 56.

6 Neuville de la. Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. Paris, 1698, P.

7 Ibid. P.

8 Винтер Э. Нидерланды и Россия накануне Северной войны (Николаус Витсен и Петр I) // Международные связи России в XVII—XVIII вв. М., 1966. С. 291—302.

9 Neuville de la. Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. Paris, 1698. P.

10 Опись библиотеки гр. Андрея Артамоновича Матвеева и графини Матвеевой // Летописи русской литературы и древностей, изд. Н. Тихонравовым. 1863. Т. 5. Отд. 3. Смесь. С. 70. Несмотря на разыскания, предпринятые коллективом авторов, работавшим над реконструкцией библиотеки А.А. Матвеева, так и не удалось выявить принадлежавший ему экземпляр, который мог бы содержать какие-то пометы или хотя бы датированную владельческую запись (Библиотека А.А. Матвеева (1666—1728). М., 1985. С. 95—96.

11 Записки русских людей. События времен Петра Великого. СПб., 1841. Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева. С. 2.

12 О параллелях между «Записками о Московии» и «Историей о стрелецком бунте» см. подробнее: де ла Невиль. Записки о Московии. Под ред. Р.Г. Скрынникова; Пер. с франц., вступ. ст., археографический обзор и комментарии А.С. Лаврова. — Новосибирск, 1992 (в печати).

13 Bibliothèque française, ou histoire littéraire de la France. T. IV. Amsterdam, 1724. P. 51.

Цит. по: Аделунг Ф.П. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года и их сочинений. М., 1864. Ч.П. С. 211.

14 Defoe D. An Imperatial History of Life and Actions of Peter Alexowitz. London, 1723.

15 Под этим псевдонимом Адрианом Байе была опубликована компилятивная история Голландии, продолжающая труд Уго Гроция Neuville de la. Histoire de Holland, depuis le treve de 1609 jusqu'à la paix de Nimegue. Paris, 1693. Т. 1—4. La Suite. 1704. Paris. Т. 1—2.

16 Baillet Adrian. Auteurs deguisez sous les mons etrangers, empruntens, supposez, feints a plaisir, chiffrez, reversez, retournez ou changez langue en autre. Parix, 1690.

17 Lenglet du Fresnoy, l'abbe. Methode pour etudier l'histoire avec un catalogue des principaux Historiens, et des Remarques sur la bont de leurs Ouvrages, et sur choix des meilleurs Editions. Т. 1. Parix, 1713. P. 206, 236.

18 Journal et Memories de M. Marais, avocat au parlement de Parix. Publies pour la premiere fois par M. de Lescure. Т. III. Paris, 1864. P. 307—308.

19 Ancillon Charles. Memoires concernant les vies et les ouvrages de plusieurs modernes celebres dans la Republique des Letters... Amsterdam, 1709. P. 293.

20 Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. VI. Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. М.-Л., 1952. С. 97—131 (французский текст), 32—161 (русский перевод).

21 ГПБ. Ф. 445 (собр. Симферопольского института), № 32 (Ger. Frid. Muller. Catalogus meiner Bucher und Handschriften). Л. 18 об.—19. № 175, 184. Эти сведения были выявлены В.А. Сомо-

вым (Сомов В.А. Французская «Росси́ка» эпохи Просвещения и русский читатель // Французская книга в России в XVIII в. Очерки истории. Л., 1986. С. 227, 239).

22 Библиотека Вольтера. Каталог книг. Под ред. М.А. Алексея, Т.Н. Копреевой М.-Л., С. 393—394 (№1372), 1082.

23 (Voltaire) Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand, par l'Auteur de l'histoire de Charles XII. Amsterdam, Т. 1. 1759. P. III, 107—108.

24 Алибина Л.Л. Вольтер в работе над «Историей Российской империи при Петре Великом» // Век Просвещения. Россия и Франция. Материалы научной конференции «Випперовские чтения — 1987». Вып. XX. М., 1989. С. 115—129.

25 Лермонтова Е. Самодержавие царевны Софьи Алексеевны по неизданным документам (Из переписки, возбужденной графом Паниным). СПб., 1912.

26 (Catherine II) Antidote ou Examen du mauvais livre superbement imprime intitule: Voyage en Siberie fait par ordre de roi en 1761 par m. l'abbe Chappel d'Auterauche. SPb., 1770. Pt. 1. P. 132—133.

27 Хранится в Московском областном краеведческом музее.

28 Coxe Wilhelm. Reise durch Polen, Rußland, Schweden und Manenmark, mit historischen Nachrichten und politischen Bemerkungen begleitet. Bd. I. Zurich, 1785. S. 289. Anm. 2.

29 Stuck G.H. Verzeichnis von aeltern und neuern Land- und Reisebeschreibungen. Ein Versuch eines Hauptstücks der geographischen Litteratur. Halle, 1787. Bd. II. S. 80. № 2769.

30 Meiners C. Vergleichung des alteren und neuern Russlandes, in Rucksicht auf die natürlichen Beschaffenheiten der Einwohner, ihrer Cultur, Sitten, Lebensart und Gebrauche, so wie auf die Verfassung und Verwaltung des Reichs. Nach Anleitung alterer und neuerer Reisebeschreiber. Bd. I. Leipzig, 1798. S. 31—32.

31 Barbier M. Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes composes, traduits ou publiés en Francais et en Latin, avec les noms des auteurs, traducteurs et editeurs, accompagnés de notes historiques et critiques. 2-e ed. Т. III. Paris, 1824. P. 184. № 16032.

32 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. X. М.-Л., 1938. С. 476.

33 Аделунг Ф.П. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года и их сочинений. Ч.П. М., 1864. С. 233, № 144; Adeling Friedrich. Kritisch-literarische Übersicht der Reisenden in Rußland bis 1700, deren Berichte bekannt sind. Bd. II. SPb. 1846. S. 379-381.

34 ГПБ. Ф. 7 (Аделунг Ф.П.) № 194 (Библиография и выписки из работ о России за 1661—1700 гг.). Л. 321—338 (Fou de la Neuville)

35 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. I. Господство царевны Софьи. СПб., 1858. С. LXII.

36 Погодин М.П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. М., 1875. С. 72—92.

37 Браудо А.И. Russica (из дополнений к труду Fr. Adeling'a «Kritisch-Literarische Übersicht der Reisenden in Russland» // Сборник статей в честь Д.Ф. Кобеко. СПб. 1913. С. 248—250.

38 Grönenbaum Ferdinand. Frankreich in Ost- und Nordeuropa. Die französisch-russischen Beziehungen von 1648—1689. Wiesbaden, 1968. S. 118—122.

39 Madariaga, Isabel de. Who was Foy de la Neuville // Cahiers du monde russe et sovietique. Paris, 1987. Vol. 28. № 1. P. 21—30.

40 Карацуба И.В. Некоторые источниковедческие аспекты изучения записок английских путешественников по России (Стереотипы их восприятия и оценок российской действительности) // История СССР. 1985. № 4. С. 166—172.



*Итальянский русист Этторе Ло Гатто — автор многочисленных книг по истории русской культуры, переводчик, учитель нескольких поколений итальянских славистов. Предлагаем читателям X-ю главу его книги «Миф Петербурга», (Milano, Feltrinelli), 1960 г.*

## ЗАКАТ МИФА ОБ «ОКНЕ В ЕВРОПУ»

### ЭТТОРЕ ЛО ГАТТО

«Если бы мне увидеть русский трон, торжественно перенесенный на его исконное место, в центр Русской империи, в Москву; если бы Петербург отбросил свои статуи и позолоту в прах, в гниль болот, куда их доставили извне, да стал бы снова тем, чем ему всегда надлежало быть: просто гранитной пристанью, торговым складом между Россией и Западом, в то время как Казань и Нижний Новгород служили бы портами между Россией и Востоком, тогда бы я сказал: благодаря чувству собственного достоинства славянский народ преодолел тщеславие своих владык и, наконец, живет своей собственной жизнью. Он заслуживает цели своего вождения, его ждет Константинополь, где искусства и богатство достойным образом увенчают усилия народа, призванного стать столь же славным и великим, сколь долго он пребывал в безвестности и рабелпии».<sup>1</sup>

11 августа 1830 года, когда маркиз де-Кюстин писал одно из последних «Писем для России», процитированное нами выше, спор между западниками и славянофилами был в полном разгаре, и встречи в Москве, откуда направлялось письмо, могли отразиться в его суждениях. Но и ровно за месяц до отмеченной даты он начинал письмо из Петербурга аналогичным рассуждением: «Пусть эта столица, без корней в истории, будет хоть временно забыта своим монархом, пусть веления политики обратят его взоры в другую сторону, и тотчас распадется подводный гранит, затопленная низина возвратится на свое первобытное состояние, и обитатели пустынь снова станут ее единственными владельцами. Подобные мысли преследуют каждого иностранца, попадающего в Россию. Никто не верит в долговечность этого удивительного города. Невольно приходит на мысль та или иная война, то или иное изменение политики, которые заставят исчезнуть создание Петра, как мыльный пузырь при дуновении ветра».<sup>2</sup>

Будут ли говорить что-либо иное в последующие времена Достоевский (в «Дневнике писателя»), поэты — декаденты и символисты, которые повторяли де-Кюстина, особенно его слова о гибели, грозящей творению Петра? Нет, у них мы встречаем те же утверждения, те же пророчества де-Кюстина, однако выраженные в более художественной, более поэтической форме, но неизменные по существу.

Уже в 1839 году маркиз де-Кюстин написал много такого, что отражало высказанное до него, при нем и после него устами русских мыслителей и поэтов. Не удивительно, что все это написал иностранец в эпоху Николая I, достаточно вспомнить, сколь многое предугадал за сто лет до него другой иностранец — Альгеротти.<sup>3</sup> Отметим более всего пророческий тон книги де-Кюстина, хотя она написана рукой человека, не любившего Россию, и исходившего из убеждения, что мощь этой страны когда-нибудь станет угрозой для Европы. Тем не менее в его книге нечто большее, чем только такое опасение, а потому вовсе недаром русскому переводу книги 1930 года в качестве эпиграфа были предпосланы слова: «самая умная книга, написанная о России иностранцем».<sup>4</sup> Это «нечто большее» отметил сам де-Кюстин в третьем издании 1844 года, отвечая прежде всего на те нападки, которые исходили из русских реакционных кругов: он открыто признал, что будучи консервативом, а не революционером, «отправился в Россию в надежде найти там аргументы против представительного правления», а вернулся «убежденным сторонником конституции»<sup>5</sup>, что своей книгой он стремился довести до государя бескрайней России «стон страдающего человечества», который он там

услышал. Известно, что Николай I был возмущен, порвал книгу, но винил самого себя в том, что удостоил беседы этого «мерзавца» (по-французски, кажется, стояло «vaugien»). Сей «мерзавец», действительно, говорил о «дурном правлении» России, но он же добавлял: « Тем не менее Россия движется вперед к своей судьбе. Конечно, если сопоставить величие цели с размахом приносимых жертв, то надо предсказать этому народу, что он обретет власть над миром». <sup>6</sup> Он советовал Николаю I почувствовать себя плотью от плоти народа и постараться понять, какие жертвы приносит народ, но император предпочитал льстивые восхваления ему самому и его правлению со стороны Оноре де Бальзака, называвшего его достойным преемником Екатерины и Петра Великого. <sup>7</sup>

Может показаться преувеличением считать рассуждения де-Кюстина пророческими, но почти во всех сочинениях, посвященных русскими авторами своей родине, особенно Петербургу, будь то политические или литературные сочинения, всегда присутствуют пророческий пафос, даже если речь идет о прошлом и дается оценка прошлому; возьмем знаменитое рассуждение Ивана в «Братьях Карамазовых» о любви к Европе, «кладбище .минувшей жизни» и России, пережившей рациональную эпоху Петра Великого. <sup>8</sup>

Н.И. Тургенев в книге «Россия и русские», изданной по-французски в 1844 году <sup>9</sup>, несколько раз обращался к будущему России — теме, которую он несомненно обсуждал в Петербурге с Пушкиным, еще совсем юным до его первой ссылки и до отъезда Тургенева из России. Очевидно, вспоминая те беседы, вдохновившие его на стихи о вольности, почти двадцать лет спустя Пушкин рисовал фигуру Петра Великого, стоящего в виде памятника на Сенатской площади:

... и того,  
 Кто неподвижно возвышался  
 Во мраке медной головой,  
 Того, чьей волей роковой  
 Под морем город основался...  
 Ужасен он в окрестной мгле!  
 Какая дума на челе!  
 Какая сила в нем сокрыта!  
 А в сем коне какой огонь!  
 Куда ты скачешь, гордый конь,  
 И где опустишь ты копыта? <sup>10</sup>

Нам известно, что на вопрос, поставленный по этому, старались ответить западники и славянофилы, а спустя некоторое время, когда остались позади самые горячие споры между двумя течениями, к решению вопроса подключились мыслители и поэты, не

отдавшие предпочтения той или иной позиции, а принимавшие близко к сердцу идеи и тех, и других: и сторонников московской традиции, и приверженцев идеи «окна, открытого в Европу».

Мысли Достоевского на сей счет мы уже излагали, обращаясь к его художественной прозе, <sup>11</sup> но мы знаем также, что он стремился подвести под них теоретическую базу безотносительно к тем коллизиям, в которые благодаря его творческой фантазии попали герои. В «Дневнике писателя», как в первой редакции 1873 года в качестве приложения к «Гражданству», так и в более поздней отдельной редакции 1876—77 гг., Достоевский изложил свои исторические и теоретические суждения; еще ранее он обращался к этой теме в 1847 году в четырех статьях, вышедших анонимно под заглавием «Петербургская летопись», а также в 1864 году в «Зимних заметках о летних впечатлениях». <sup>12</sup> В последней работе следует выделить некоторые положения прежде, чем перейти к работам двух других мыслителей, которые совершенно определенно высказались по проблеме Петербурга: Н.Я. Данилевскому и К.Н. Леонтьеву.

Достоевский писал: «Господи, да какие же мы русские? — мелькало у меня подчас в голове... — Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились — с этим, я думаю, все согласятся, один с радостью, другие, разумеется, со злобою за то, что мы не *доросли* до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что мы не переродились даже при таких неотразимых явлениях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор!» <sup>13</sup> Достоевский с иронией задавался этим оригинальным вопросом в 1863

году. Два года спустя увидело свет выпусками в журнале «Заря» сочинение Н.Я. Данилевского «Россия и Европа»<sup>14</sup>, первое издание отдельной книжкой которого вышло в 1871 году. Затем последовали новые издания вплоть до 1889 года, когда автор книги уже охладил к ней, погружаясь все более и более в антидарвинистские исследования. Натуралист по профессии, Данилевский применил метод естественных наук к философским наукам, косвенно поддерживая литераторов, которые при описании Петербурга применили термин «физиология». Славянофил, но весьма отличавшийся от так называемых традиционных славянофилов, он оспорил утверждение последних, что у русского народа есть своя историческая миссия, как у хранителя всеобщей культуры. Он заявил, что отличие общего историко-культурного славянского типа вообще и русского типа, в частности, от других исторических типов, сменившихся в ходе истории человечества, отнюдь не указывает на особую миссию, хотя и может вызвать соперничество между различными типами, а со стороны русских может вызвать даже враждебность по отношению к западному миру. Значение этой концепции проявилось полностью впоследствии благодаря тому воздействию, которое она оказала на немецкого мыслителя Освальда Шпенглера, автора «Заката Европы», вышедшей приблизительно в то же время, когда русскими философами эмиграции была сформулирована новая теория, получившая название «евразийство».<sup>15</sup> Воздействие концепции Данилевского на немецкую мысль вообще могло иметь место очевидно из-за того, что на самого русского ученого в предшествующие годы повлияла теория немецкого историка Риккерта о стабильности и неизменности видов животного и растительного мира.<sup>16</sup> Этот факт привлекает наше внимание с историко-теоретической точки зрения, так как Данилевский начинал свою книгу о России и русских вопросом: «Европа ли Россия?»<sup>17</sup> Такой вопрос может относиться не только к нашей теме, но к общей постановке русской проблемы. Поскольку ответ не мог быть иным, кроме отрицательного, то отрицательным должно было быть мнение Данилевского о Петербурге. Вопрос о том, следует ли считать европейскую культуру — взятую в том духе, как к ней относился Данилевский — истинной культурой общечеловеческих ценностей, интересует нас только потому, что если ответ будет отрицательным, то нужно следовательно признать ошибочным решение Петра Великого «открыть окно в Европу». Теория Достоевского, выдвинутая им в 1861 году (опубликованная без указания автора в журнале «Время», но несомненно ему принадлежащая), представляется целой программой возможного примирения запад-

ничества, ибо допускает петровские реформы, со славянофильством, ибо признает «народное начало». Однако предложенная теория не привлекла внимания Данилевского. Еще менее проекты Достоевского могли убедить другого мыслителя, упомянутого нами в связи с Данилевским, — Леонтьева, делавшего прямые ссылки на Данилевского и бывшего во многих вопросах противником Достоевского. Леонтьев без колебаний применил идеи Данилевского, несколько видоизменив их, к оценке творения Петра — Петербурга. Это произошло в 1875 году, когда Достоевский уже многократно высказывался о Петербурге в своих романах и теоретических статьях. Некоторые выражения Леонтьева чрезвычайно резки, одно из них особенно известно и часто цитируется для иллюстрации мнения писателя. Леонтьев объявляет себя принципиальным консерватором, идейно отгораживаясь от практического или эмпирического консерватизма, а та знаменитая фраза, которая напоминает инвективы современников царя-реформатора против его реформ и против открывания окна в Европу, звучит так: «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всемщения и — кто знает — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, и мы неожиданное из наших государственных недр, сперва бессловесных, а потом бесцерковных или уже слабоцерковных, — родим Антихриста».<sup>18</sup>

Будучи «религиозным мыслителем», по определению Бердяева,<sup>19</sup> Леонтьев без колебаний принял сторону раскольников, именовавших Петра I Антихристом, и шел дальше, утверждая, что русские занимали центральное положение и перемешивали всех и вся, а потому могли бы «написать последний Мани-Фекель-Фарес на здании всемирного государства и положить конец истории, уничтожив человечество во всечеловеческом равенстве».<sup>20</sup>

Леонтьеву было свойственно делать парадоксальные теоретические заключения, такую же позицию он занимал в отношении истории, но здесь его парадоксы представляли собою утверждения, которые он уверенно отстаивал с помощью убедительных аргументов. Например, его оценка деятельности Петра Великого: «Петербургская Россия трещит по всем швам... Весь Петровский период был только бессознательным притворством; ... петровская (петербургская) Русь была только переходом к какой-то неизвестной еще славяно-босфорской государственности; ... маска европеизма окажется, действительно, только маской».<sup>21</sup>

В противоположность Данилевскому Леонтьев признавал за Россией особую миссию, для выполне-

ния которой однако было необходимо, чтобы Россия прежде всего осознала, что «она — не просто государство, это целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности».<sup>22</sup> Леонтьев добавлял: «Нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, стать, наконец, во главе умственной и социальной жизни всечеловечества».<sup>23</sup> Чтобы сойти с рельсов европейской цивилизации нужно было отказать от Петербурга. На этот счет Леонтьев был тверд. Петербург — «окно в Европу». А зачем беспокоиться о Балтике, если России предназначено судьбой ходить «из варяг в греки», вернуться к византийской традиции? Леонтьев писал так: «Я убежден глубоко, что все то, что вредно для величия и силы города Петербурга, — полезно для России. Петербург не Париж, не Рим, и Россия не с городом связана, а с живой душой, с Государем! Столицы мы много меняли, и всякий раз с временной пользой; перенемим и еще!»<sup>24</sup>

Не следует забывать, что в то время, когда Леонтьев приводил в пример мусульман, много раз переносивших столицу из Мекки в Багдад, Бурсу, Адрианополь, Константинополь и оказавшихся перед необходимостью искать себе новый центр в Азии, приблизительно тогда же Достоевский в «Дневнике писателя» публиковал свои гневные статьи о русско-турецкой войне, общий лейтмотив которых выражался во фразе, ставшей заглавием одной из статей: «Константинополь будет наш». Восточный вопрос, занимавший и Леонтьева, и Достоевского, интересует нас только в том смысле, что Леонтьев, хотя и в виде парадокса, связывал с ним перенос столицы из Петербурга, что повлекло за собой новое умонастроение, отразившееся, как мы видели, в литературе. Леонтьев сам указал на связь явлений: «В начале «шестидесятых годов» старая жизнь дышала на ладан; нужна была новая жизнь, а новая жизнь требует нового центра, новой столицы, пусть не административной, пусть только культурной, притом не чисто русской, не греческой, не исключительно славянской, а православно-восточной и западно-азиатской. Такой выход неизбежен!»<sup>25</sup> И еще: «Цареградская Русь освежит Московскую, ибо Московская Русь вышла из Цареграда; она более Петербургской культурна, то есть более своеобразна; она менее рациональна и менее утилитарна;...она переживет Петербургскую. И чем скорее станет Петербург чем-то вроде ... Балтийской Одессы, тем лучше не только для нас, но вероятно и для так называемого „человечества“».<sup>26</sup>

Парадокс приводит далее к предсказанию двух Россией: русской империи со столицей в Киеве и Рос-

сии во главе Великой Восточной Федерации с новой культурной столицей в Византии, что немедленно обращает внимание на два отступления Леонтьева: первое — исторический момент, то есть напоминание о том, что Москва вышла из Константинополя, второе — культурный момент, то есть наличие в Москве более оригинальной культуры, чем в Петербурге. Первое отступление подтверждает, что писатель верил в миф о «Москве—третьем Риме», второе — что уже в «тридцатые годы» культурная Москва начала противопоставлять себя бюрократическому Петербургу, закладывая основы культурного расцвета, характеризующего русскую жизнь конца XIX — первого десятилетия XX века, когда противоречивые элементы находили разрешение тем или иным образом. Брожение «восьмидесятых годов», вокруг имен Пушкина и Достоевского, когда в Москве открывался памятник поэту, а писатель-романист восславил его во имя духовного примирения, не прошло мимо Леонтьева, который как раз по случаю пушкинских торжеств выпустил еще одну отравленную стрелу в адрес северной столицы. Он написал: «Для понимания поэзии нужна особого рода временная лень, не то веселая, не то тоскующая, а мы теперь стыдимся всякой, даже и самой поэтической лени!... Да и когда нам теперь лениться?.. Все вокруг нас охвачено каким-то тихим и медленным тлением, свершается воочию один из тех нешумных «великорусских» процессов, которые у нас всегда предшествовали глубокому историческому перевороту, — крещению киевского народа в Днепре, Петровскому разрушению национальной старины и, наконец, нынешнему положению дел, лишь переходному к чему-то другому.»<sup>26</sup>

Леонтьев неоднократно высказывался в адрес Европы, однако его суждение имело не более сдержанный тон по сравнению со славянофилами: «Мы все не верим еще славянофилам, что «Запад гниет». Мы все еще готовы смеяться над этой фразой. Там ведь такие хорошие машины, столько учености, столько денег!»<sup>27</sup> И добавлял также, что в урочный час сила русского духа послужит защите лучших и благороднейших начал европейской цивилизации.

Теоретики восприняли славянофильскую традицию, как-то проскользнув мимо Леонтьева. Будучи евразийцами в вопросе о Европе, с одной стороны, и о Петербурге, с другой стороны, они казались еще более категоричными, чем их учителя, но когда они провозгласили принципы своей доктрины, то к этому времени «пророчества» Леонтьева частично осуществились в ходе Октябрьской революции 1917 года.

Из основных принципов их доктрины нас интересует только один, впрочем более или менее связанный с прочими, которые, в свою очередь, находят

в указанном принципе свое подтверждение: Этот принцип состоит в положении, что Петр своими реформами прервал азиатскую традицию в России. Именно азиатскую традицию евразийцы кладут в основу русской цивилизации, складывавшейся, по их мнению, как результирующая трех факторов: Греция, которая, как они утверждали, уходит корнями в Азию, восприняв восточное влияние через Византию; степи с кочевниками-монголами; и наконец, Западная Европа, влияние которой оценивалось как губительное для России, ибо оно сокрушало первые два фактора. Враждебность к Петербургу, символу Западной Европы, совершенно естественно вытекала из евразийской доктрины, признававшей два азиатских фактора. Отличие своей доктрины от славянофильской прояснили сами евразийцы, утверждая, что перед судом реальной действительности идея славянского мира («славянство») не оправдала надежд, которые на нее возлагали славянофилы.

\*\*\*

Исторические судьбы Петербурга, питавшие мысль философов и вдохновлявшие поэтов в течение двух веков, протекших с момента основания новой столицы, а главным образом со времени правления Елизаветы Петровны, в общих чертах совпадали с историческими судьбами самой России. Всего один раз, в начале XIX века, нашествие Наполеона и его отступление возвратили Москве некую долю ее национального достоинства. Москве принадлежали сердца многих поэтов, но образцом истинной преданности Москве могут быть только строфы Пушкина, посвященные старой столице, из «Евгения Онегина». Одна из строф выражает не только личные чувства поэта, но и чувства русских людей, когда не было еще ни славянофилов, ни западников:

«Ах, братцы! как я был доволен,  
Когда церковей и колоколен,  
Садов, чертогов полукруг  
Открылся предо мною вдруг!  
Как часто в горестной судьбе,  
Москва, я думал о тебе!  
Москва ... как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось!  
Как много в нем отозвалось!»<sup>28</sup>

Такая проникновенность и восторг не помешали Пушкину несколько лет спустя создать не менее известный гимн Петербургу в «Медном всаднике»: «Люблю тебя, Петра творенье...»

Писатель М.Н. Загоскин, автор самого значительного русского исторического романа до «Капитанской дочки» Пушкина «Юрий Милославский,

или русские в 1612 году», а также автор романа об Отечественной войне 1812 года, описал чувства человека, вошедшего в Кремль и обдумывающего значение Кремля для русской истории. Схожие чувства позднее выразил в стихах поэт А.Н. Майков:

«Мы — москвичи! что делать, милый друг!  
Кинь нас судьба на север или на юг, —  
У нас везде, со всей своею славой,  
В душе — Москва и Кремль златоглавый;  
В нас заповедь великая жива  
И вера в нас досель не извелася,  
На коих древле создалась Москва  
И чрез нее — Россия создалася.»<sup>29</sup>

Мы обратились здесь к поэтическим отражениям московской истории, ибо во второй половине XIX века любой историк был обязан считаться с наличием двух столиц, а не одного только Петербурга, если он воссоздавал или толковал исторические события России. Уже в 1866 году историк К.Д. Кавелин писал: «До сих пор мы не умели связать между собою двух периодов, разделенных Петром Великим, и не могли объяснить себе, каким образом родилась и выросла на древней русской почве личность, подобная Петру...» Непреложным фактом является то, что «как бы ни была велика и могуча личность Петра, как бы отрицательно ни относилось его преобразование ко всему старому, — все же он родился в том обществе, которое преобразовал, был дитя своего времени и обстоятельства, и в этом смысле как он, так и его дело должны же были находиться в органической связи с той средой, из которой возникли и к которой относились.»<sup>30</sup> Таким образом связь между Петербургом и Москвой была исторически установлена, но не выявлена, и по мнению историка С.Ф. Платонова, к выявлению указанной связи стремились историки кавелинской школы, не признававшие противопоставления России петербургской и России московской, как это делалось до них. Считая, что Петр олицетворяет связь с эпохой и средой, Кавелин установил преемственность, которая стала ключевым моментом русской историографии второй половины XIX века. Это положение приобретает большое значение, ибо независимо от того, можем мы или не можем оценивать роль Петербурга вне поэтико-символических образов мифа об «окне в Европу» или мифа о «строителе-чудотворце», именно историкам данного направления принадлежит заслуга исследования перехода от прежних социально-политических установлений к новым, соответствовавшим петровскому плану преобразования России. Некоторые моменты их исследования мы уже использовали, когда приводили различные суждения о реформах Петра I, взятые в их исторической перспекти-

ве.<sup>31</sup> Сейчас же мы обращаемся к их исследованиям, чтобы уяснить причины, почему во второй половине XIX века сложилась идеальная обстановка, когда звучали не только поэтические творения декадентски-символического толка, но и реалистические, понимаемые вне символики, а как воспроизведение исторических событий.

После Кавелина во второй половине века его линию поддержал другой историк С.М. Соловьев, исходивший в своей трактовке петровского времени из предпосылки, что Петр удовлетворил те необходимые запросы, которые возникли в России уже в XVII веке. Об этом писали ученики самого Соловьева и историки следующего за ним поколения, считавшие, что имел место не «переворот», как выразился Соловьев, а «потрясение», последствия которого переклестнули первоначальные замыслы. Историк В.О. Ключевский дал наиболее исчерпывающее объяснение процесса, указав те исторические причины, от которых зависела упомянутая нами особая идейная обстановка.<sup>33</sup> Он прежде всего подчеркнул, что перед реформой не ставилась задача преобразовать на новых началах политический, социальный и моральный порядок страны, а только предоставить русскому народу моральные и интеллектуальные средства, чтобы дотянуться до уровня западных стран. Затем Ключевский отметил, что всего этого Петр был вынужден добиваться в ходе упорной и опасной войны, преодолевая одновременно и апатию, инерцию, предрассудки и робость прежде всего невежественного духовенства. В результате реформа постепенно превращалась в ожесточенную внутреннюю борьбу, которая встряхнула «стоячее болото» русской жизни и привела в движение все классы общества: «Начатая и введенная верховной властью, привычной руководительницей народа, она (реформа) усвоила характер и приемы насильственного переворота, своего рода революции. Она была революцией не по своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое произвела на умы и нервы современников. Это было скорее потрясение, чем переворот. Это потрясение было непредвиденным следствием реформы, но не было ее обдуманной целью».<sup>34</sup> Символом потрясения стал Петербург, Москва же была символом «стоячего болота» русской жизни. Работа Ключевского, сложившаяся как курс лекций для чтения в Московском университете, получила широкое распространение, вписавшись в эпоху, когда звучало отрицательное отношение некоторой части русской интеллигенции к Петербургу, а Москва снова, как это уже было в тридцатые и сороковые годы в период утверждения в ней идеалистической философии, стала выходить на передний край. Странно выглядит предложение Ле-

онтьева поставить в Москве, а не в Петербурге созданный памятник «царю-освободителю» Александру II, как будто в противовес двум памятникам Петру Великому, воздвигнутым в XVIII веке «царю-реформатору» скульпторами Растрелли старшим и Фальконе. Но не удивляет ли совпадение, что Ключевский говорил о «стоячем болоте» в Москве XVII века, с которым боролся Петр I, в тот самый момент, когда в самой Москве «пульс жизни бился сильнее, чем в Петербурге».<sup>35</sup> В реальной действительности те десятилетия, которые последовали за реформами Александра II, были периодом, когда сложилась неординарная ситуация: Москва не могла поддерживать темп развития, заданный крупным производством, выросшим в ее окрестностях, ибо она стала мощным финансовым центром страны, но кредитами распоряжались петербургские банки. Петербург же не мог обеспечить равномерное вращение колес своего огромного бюрократического аппарата, не опираясь на московские деловые круги. В определенном смысле Петербургу угрожало стать тем «стоячим болотом», которое было символом московской жизни в XVII веке. В столице все без исключения понимали, что с этим нужно что-то делать. Трудно сказать, как сложившаяся ситуация влияла на характер духовной жизни Петербурга в последний четверти века. Бесспорно, однако, что даже крайние приверженцы имперской столицы вынуждены были признавать, хотя и с оговорками, справедливость упреков в адрес Петербурга, раздававшихся в середине XIX века, что он стал холодным, бездушным и, прежде всего, казенным городом. Вот как можно было бы объяснить предпочтение, которое часть интеллигенции снова стала отдавать Москве, свободной от чиновничьего засилья, к тому же, по традиции, оставшейся «матушкой Москвой», как ее некогда безо всякой славянофильской тенденциозности воспевал Пушкин. Но и Петербург под воздействием времени начал менять свой облик в духе технического прогресса, а промышленное развитие страны, преобразовав отдаленные провинциальные городки в крупные фабричные центры, начало сказываться не только в московском регионе, но и в пустынных землях, посреди которых стоял Петербург. Не вызывает сомнений, что Александр Блок, говоря о том, что видит, как над страной «загорелась Америки новой звезда», думал и о Петербурге.<sup>36</sup> Не без основания гениальный историк России Владимир Вейдле назвал эпоху, предшествующую 1917 году, «прерванным обновлением». Он приводил слова поэта В.Ф. Ходасевича: «Будь навсегда проклят четырнадцатый год» и добавлял, что, не будь первой мировой войны и последовавшей за ней катастрофы, для спасения России, судьбу которого символизирует Петербург,

не понадобилось бы революция.<sup>37</sup> Но история не признает сослагательного наклонения, оно является продуктом поэтических фантазий или философских рассуждений.

\* \* \*

Для проверки своей исторической миссии Петербург получил особый случай в 1903 году, когда праздновал двухсотлетний юбилей со дня его основания. В тот момент трудно было представить, что по прошествии полувека, когда город будет отмечать новую круглую дату, он уже не будет носить имя Петра, а получит имя того, кто, совершив новый переворот, лишит его высокого статуса, как в свое время основатель города лишил такого статуса Москву. В действительности, Петр дал городу не свое имя, а имя своего покровителя: Санкт-Петербург, а не просто Петербург. Переименовав его в Ленинград, ниспровергатели не оскорбили основателя города, хотя выражение «град Петра» из пушкинского «Медного всадника» заставило забыть Санкт и прославлять просто Петербург. Юбилейный 1903 год таким образом привел в равновесие не только Петербург, но и страну, включая Москву, чему можно привести всего лишь один, но символический пример. Если в 1902 году в Петербурге появился журнал «Мир искусства», в котором среди прочих Бенуа напечатал свою статью-призыв «Художественный Петербург», то в 1898 Москва основанием свободного Художественного театра К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко бросила своеобразный вызов казенным по духу театрам Петербурга. Обе столицы начали и продолжали вплоть до революции 1917 года настоящее соревнование за первенство. Тогда-то громче, чем прежде, заговорили о *двух столицах*, а Москва без ложной скромности заявила свою претензию на современность — современность при этом означала «европеизм», — доказывая таким образом, что миф об «окне в Европу» не ушел в прошлое, но приобрел другое осмысление, отличное от того, какое он имел в те времена, когда Москва и Петербург служили символами двух противоречивших и враждебных друг другу тенденций. Типичный и наглядный пример подобной ситуации: русские открывают для себя французскую живопись, когда европейцы открывают для себя живописную красоту русских икон. Петербург не перестал быть чиновничьим городом, но казенные черты перестали быть главным в его облике, и если облик города выдавал преобладание политики над культурой, это вовсе не означало, что культура не уступала политике. Революция 1905 года — а ее движущей силой был, разумеется, Петербург — была деянием

более всего класса интеллектуалов. Отметим и то, что она привлекла к себе даже таких типичных декадентов-символистов, как Мережковский и Брюсов. Если в Петербурге после поражения революции депрессия духовных сил ощущалась сильнее, чем в других городах, то это был не столько результат политической реакции, но особого духа революционеров-интеллигентов 1905 года.

Тем временем в Москве произошли весьма значительные изменения. Патриархальный купеческий класс постепенно вытеснялся все более интеллектуальной буржуазией. Традиционные черты облика Москвы: широкий образ жизни, меценатство, гостеприимство — осовременились, а потому не все здесь выглядело автохтонным и своеобразным, как это в свое время представлялось Герцену. Разумеется, Москва осталась Москвой, но она приобрела многочисленные черты, характерные прежде для Петербурга. Уже не было возможности отличить, как некогда, московского интеллигента от петербургского, не было также возможности создавать петербургские картины, какие писал Гоголь, взирая на новый быт столицы. Не случайно же московские купцы принялись коллекционировать полотна французских импрессионистов!<sup>38</sup>

\* \* \*

Москва никогда не была столицей России: когда «строитель чудотворный» прорубил окно в Европу и основал Петербург вокруг Петропавловской крепости. Москва была столицей Московии, а когда столица бывшей Российской империи была в 1918 году переведена из Петрограда в Москву, не могло быть и речи о столице России, так как такого названия не было в новом административном делении в результате победившей революции, впрочем, с другой стороны, Москва могла бы продержаться в качестве столицы России только до 1923 года, когда ее провозгласили столицей Советского Союза. Петербург же, переименованный в годы первой мировой войны в Петроград ради замены германского «бург» на славянский «град», попал в такое положение, в каком была Москва после основания новой столицы, однако, с тем отягчающим обстоятельством, что в начале XVIII века Москва имела за плечами давние традиции, не поддающиеся искоренению, а Петроград не оказал, да и не мог оказать, никакого сопротивления, ибо, получив имя Ленинград сразу после смерти вождя, одержавшего здесь свою победу, был вынужден стряхнуть свои двухвековые традиции.

В определенном смысле осуществилось то, что многократно прочили поэты и мыслители. Новые поэты говорили либо об окне, прорубленном не в Ев-

ропу, а в ад, например, П.Г. Антокольский, вложивший эти слова в уста «медного всадника»;<sup>39</sup> либо о том, что недолго простоявшее открытым окно было заперто, как писал Бенедикт Лившиц в «Новой Голландии».<sup>40</sup>

Когда затихли шаги двенадцати красногвардейцев и шедшего впереди Иисуса Христа, революционный Петербург Блока превратился в собственную тень, в некий «град молчания», что и подобало свергнутой царице, еще блистающей красотой. Много лет спустя Андре Жид, побывав в этом городе отозвался о нем словами, приводящими на память пушкинские строки: «Что восхищает в Ленинграде — это Санкт-Петербург. Я не знаю более красивого города, более гармоничного сочетания металла, воды и камня».<sup>41</sup> Молчание города не вынудило замолчать ни историков, ни поэтов, ибо интерес к «граду Петрову», ставшему «городом Ленина», неуклонно возрастал наряду с интересом к Москве, новая роль которой могла породить новый миф «о Москве — четвертом Риме» и развеять гордое прорицание старца Филофея: «четвертому Риму не бывать».

Поэты острее, чем теоретики и историки, ощущали трагическую судьбу Петербурга, но среди них были такие, кто выражал свою надежду посреди отчаянья. В таком тоне написано стихотворение Осипа Мандельштама 1920 года, самое выразительное из всего, что мы могли припомнить:

В Петербурге мы сойдемся снова,  
Словно солнце мы похоронили в нем,  
И блаженное, бессмысленное слово  
В первый раз произнесем.  
В черном бархате *советской* ночи,  
В бархате всемирной пустоты,  
Все поют блаженных жен родные очи,  
Все цветут бессмертные цветы.  
Дикой кошкой горбится столица,  
На мосту патруль стоит,  
Только злой мотор во мгле промчится  
И кукушкой прокричит.  
Мне не надо пропуска ночного,  
Часовых я не боюсь:  
За блаженное, бессмысленное слово  
Я в ночи *советской* помолюсь...  
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,  
В черном бархате всемирной пустоты...<sup>42</sup>

Петербург был городом Петра, и прежде всего к нему, а не к городу, обращались писатели. Позднее последовала историческая переоценка личности великого государя, но пока этого не случилось, Петр оказался персонажем нескольких произведений, среди которых одно из наиболее значительных явлений советской литературы — роман Алексея Николаевича Толстого. Алексей Толстой возвращался к

Петру в течение почти всей своей писательской жизни, начиная с революции 1917 года до последних дней перед смертью, наступившей в 1945 году. В течение этого долгого времени его представления о Петре Великом претерпели серьезные изменения, частью из-за эволюции его собственной политической позиции, частью потому, что переходя от небольшого рассказа «День Петра» к крупному роману «Петр Первый», он вынужден был глубоко изучить и личность государя, и историческую эпоху. Важно также, что в конце концов, создавая роман, он убедился в справедливости слов Максима Горького, что эпоха Петра была очень похожа на послереволюционную обстановку в России 1917 года.

В рассказе «День Петра» Алексей Толстой придерживается славянофильской, то есть антизападной, позиции, отказывая Петру в любви к России. Его позиция вырастает из стародавней оценки Петра, предложенной Карамзиным в записке «О древней и новой России», где царь обвинялся в том, что «хотел сделать Россию Голландиею». Отголоски такой оценки удивительным образом встречаются у певца русской деревни Сергея Есенина, то есть скорее поборника Москвы, чем Петербурга, в его «Песне о великом походе». Он не только выдерживает славянофильский тон, но прямо включает тексты подметных листов, составленных сектантами против Петра, именуемого Антихристом. В рассказе «День Петра» царь представлен в самом начале своего правления, еще до основания Петербурга. Пробуждение особого интереса к царю в связи с февральской революцией 1917 года А.Толстой признал позднее, когда говорил, что скорее художественное чутье, а не научный интерес к истории, подсказали ему возможность через петровскую тему показать характер русского народа и русской государственности. Очевидно, что рассказ сильно задел историков, свое несогласие выразил С.Ф. Платонов<sup>43</sup>, он проанализировал рассказ Толстого вместе с вышедшим через несколько лет рассказом Б. Пильняка «Его величество kneeb Piter Komandor»,<sup>44</sup> написанными в чисто славянофильском духе. Историк упрекнул обоих писателей в одном и том же: они рисуют Петра односторонне как человека, подчеркивая его грубость и пороки, тенденциозно как государя, неспособного понять нужды России, при этом они извращали мнение современных историков, хотя и черпали обороты речи из наиболее признанного из последних, Ключевского. Ключевский дал достоверную характеристику Петра, не скрывая его грубости и пороков, но свидетельствуя о «глубоко нравственной основе его гениальной натуры». Рассказ «Его величество kneeb Piter Komandor» в творчестве Пильняка остался эпизодом без продолжения, однако весьма интересен взгляд писателя, изложенный по поводу деятельности государя: «Во имя случайно начатой (как и все, что делал Петр, ...) войны со шведами, случайно заброшенный под Ниеншанц, Петр случайно заложил — на болоте Невской дельты, на острове Енисари, — Петропавловскую фортецию,

совершенно не думая о раю». <sup>45</sup> Всего только один выпад, в котором повторяющееся «случайно» служит обвинительным приговором всему, включая основание Петербурга, а написано это в годы, когда Петербург вышел на передние линии исторического пути России! Как мы уже говорили, позиция Алексея Толстого была неоднозначной. В 1929 году он вынес петровскую тему на театральные подмостки в драме с чисто пушкинским заглавием «На дыбе», напоминая по содержанию Мережковского: конфликт Петра с сыном Алексеем. В этом же году Толстой взялся за роман, над которым будет работать пятнадцать последующих лет, доведя его действие только до основания Петербурга.

Оставляем в стороне малые произведения Алексея Толстого, посвященные Петру, так как его имя более всего связано с романом, в котором славянофильский дух 1917 года исчезает благодаря тщательной проработке документов эпохи, уступая место иному подходу. И если бы действие романа было доведено до времени расцвета города, то Петербург предстал бы в лучах того света, который проникал через «окно в Европу», хотя автор и ставил своей задачей преодолеть традиционный «европеизм». К подобному заключению приводят заметки А. Толстого 1931—33 годов, когда он готовился продолжать свой роман: «Первое десятилетие XVIII века являет собой удивительную картину взрыва творческих сил, энергии, предприимчивости. Трещит и рушится старый мир. Европа, ждавшая совсем не того, в изумлении и страхе глядит на возникающую Россию... Несмотря на различие целей, эпоха Петра и наша эпоха перекликаются именно каким-то буйством сил, взрывами человеческой энергии и волей, направленной на освобождение от иноземной зависимости». <sup>46</sup>

\* \* \*

В приведенных словах Алексея Толстого миф о Петербурге «окне в Европу» теряет свое значение. Широко распространенная концепция, что история народа идентифицируется с историей столицы, подтвердилась дважды в течение веков: при Москве — столице Московии — и Петербурге — столице Российской империи. А широко известное явление, что процесс объединения народов, как правило, означал принижение роли одного города в пользу другого — примеры чему имеются на Западе в Италии и Германии — подтвердились также в России, где вслед за Москвой, которая объединила удельные феодальные княжества и стала наследницей их столиц, пришел черед Петербурга, новой столицы, послужившей объединению новой державы, расширившей пределы Московии. Не следует поэтому удивляться, что возвращение столицы из Петербурга в Москву было воспринято, между прочим, как новый этап объединения, когда объединились не только русское и даже не только славянское пространство, о чем некогда мечтали славянофилы, а иные пространства, чуждые понятиям национальных или расовых пределов, — мир социализма. Более, чем логично, от-

сюда было решение замуровать «окно в Европу», да еще навечно, тем более что возвращение в Москву, с точки зрения новой державы, столицей которой становилась Москва, примиряло соображения географического порядка с исторической традицией, сохранявшей за Москвой символическую роль объединительницы.

В действительности, ни в одной стране подобное изменение не было бы столь важным, с политической и культурной точек зрения, как в России. Здесь по воле одного человека оказалось возможным заменить Москву, столь крепкую своими традиционными связями, еще ненародившимся городом, притом что Москва продолжала расти и крепнуть, если судить по царствованию Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Очевидно, что она могла бы впоследствии взять на себя роль новой столицы, то есть «окна в Европу». До возвышения Москвы в России были другие культурные центры: Киев, где русские приняли крещение по византийскому обряду, Новгород Великий, где утверждались первые на Руси гражданские вольности. И в Киеве, и в Новгороде чувствовались западные веяния, несомненно они могли бы достичь и Москвы. Но в начале деятельности Петра западная ориентация в Москве еще слишком слабо проявлялась, хотя уже сложились традиции принимать архитекторов и представителей других искусств, например, тех, которые в конце XV — начале XVI века перестраивали Кремль. Здесь же вынашивались планы выхода к морю. Этим в свое время был озабочен царь Иван Грозный. Вероятно, не без причины после революции русские наряду с Петром Великим политически реабилитировали оклеветанного государя, искавшего пути к морю и добывавшего новые земли на Востоке.

Петр Великий осуществил то, что не удалось Ивану Грозному, и его несомненная заслуга состоит в том, что он сломил сопротивление таких сил, как беглые монахи, лишенные своих привилегий бояре, православные мужики с отстриженными насильно бородами. Но для Петра все это обернулось потерей сына, которого царевы недруги склонили на свою сторону или только так считали. Возвращение столицы в Москву после революции 1917 года могло бы снова возбудить вопрос о том, действительно ли Петр Великий мог добиться своей цели, так как признание огромного значения для революции Петербурга в качестве «окна в Европу» сохраняло в глазах революционеров все его достоинство. Революция признавала, что Москва, хотя и была провозглашена наследницей Византии, но имела столь тесные контакты с Европой, как Петербург, а Петербург, оставаясь окном, открытым в Европу, не был менее русским городом, чем Киев и Москва, именно в силу тех задач, которые перед ним ставил его основатель. Не следует забывать, что славянофилы, выдвигая идею своеобразного национального облика России, не только не исключали, но предсказывали ей особую роль в европейской культуре, именно в силу ее национального своеобразия. С другой стороны, не следует отмахиваться от того обстоятельства, что ярый западник Герцен считал типично русское яв-

ление — общину — неотъемлемым свойством России, хотя и живущей в рамках европейской цивилизации. Речь идет о деталях или оттенках, которые не исключали ни враждебности славянофилов к Европе, ни отворачивания западников к московским традициям.

Мы возвращаемся к истории борьбы, не затухавшей в продолжение всего XIX века между двумя течениями, традиционное название которых славянофилы и западники, для того, чтобы показать, что эта борьба не прекращалась и впоследствии, когда течения поменяли названия, будь то евразийцы вместо славянофилов или социалисты вместо западников.

Но задаваясь вопросом, была ли необходимость создавать новую столицу, как это сделал Петр для преодоления московских традиций, напомним, что были историки, ставившие вопрос, была ли необходимость переносить столицу в Москву после революции. Вопрос не чисто риторический, как это может показаться. Социализм в России, как было сказано, родился как западничество, либо из западничества, либо благодаря ему, и Петербург через окно, открытое Петром Великим, первым воспринял идеи социализма. Таким образом Петербург стал символом новых идей. Так почему же не сохранить новый центр победоносной революции в Петербурге, само изменение названия которого на Ленинград подчеркивает его идейный приоритет? Достаточно ли будет двух причин: географическое положение и объединяющая роль Москвы, — чтобы отдать предпочтение Москве, даже если учесть особые условия, сложившиеся в период гражданской войны? Отдать предпочтение Москве не знаменовало ли отказ от деяний Петра? Мы уже говорили, как одновременно пробудился интерес к Петру Великому и Ивану Грозному в историографии и литературе накануне и во время второй мировой войны. Не означает ли это в терминах, свойственных не религии, а социальной политике, возрождения мифа о Москве — третьем Риме, ибо и Петр мог быть преемником этого мифа, если бы не взялся открывать окно в Европу? Подобное социально-политическое православие не стало ли подержкой идеям русского социализма, зрелшего благодаря борьбе славянофилов и западников и в ее ходе? И не в Москве ли видели опору такому православию? Ответа на риторические вопросы нет, а вопросы остаются тем более риторическими, что победившая революция выродилась в соревнование социализма с капитализмом, о чем пророчил еще в 1869 году «Агасфер русской интеллигенции» В.С. Печерин, предвещая гибель Петербурга в стихотворении «Триумф смерти»:

Лютый враг наш, ты пропал!  
Как гигант ты стал пред нами,  
Нас с презреньем оттолкнул  
И железными руками  
Волны в пропасть замкнул.  
Часто, часто осаждали  
Мы тебя с полком валов  
И позорно отступали

От гранитных берегов!  
Но теперь за все обиды  
Бич отмщает Немезиды.<sup>47</sup>

В стихотворении враждебные стихии грозят гибелью «граду Петрову», ибо для Печерина Петербург — деспотический город, и бунт стихии в его символическом значении обоснован и справедлив.

Символ, как и миф, имеет в истории, возможно, не меньшее значение, чем порождающие его события. Миф о Петербурге растаял с утренним туманом, но возникнут новые мифы, может быть не столь обильно уснащенные восторгами, проклятьями, тоской и ностальгией. История не может опираться на легенду, даже на легенду, которую сложили люди, оплатив ее своими муками и кровью. А не служат ли легенды и поэзия, окутывающие историю, воздаянием за страдания, за веру и надежду, ради которых были принесены эти жертвы?

Примечания Этторе Ло Гатто приводятся нами под их оригинальным номером со значком \*

1 <sup>1</sup> \* Marquis de Custine. *Letters de Russie*. Introduction par Henri Massis. — Paris, 1951.

Цитируемый отрывок не обнаружен нами в русском переводе книги Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. — М., 1930. Перевод наш. Указанное издание полностью воспроизведено в 1990 г. издательством «Терра», Москва. Наши прим. сделаны по последнему изданию.

2 Ук. соч., с. 62. Имеются незначительные разночтения.

3 <sup>2</sup> \* Francesco Algarotti. *Viagge in Russia / a cura di P.P. Trompeo*. — Toriano, 1942.

Имеется несколько более поздних изданий ук. соч. Франческо Альгаротти, осуществленных в Италии.

4 Отзыв А.И. Герцена 1834 года.

5 Французский оригинал в ук. соч., с. 13.

6 Цитируем в переводе с итальянского языка.

7 См. Например А.И. Гербстман. Оноре де Бальзак: Биограф писателя. — Л.: Просвещение, 1972.

8 См. Ч. 2, Глава «Братья знакомятся».

9 <sup>3</sup> \* Я располагаю русским изданием Николай Тургенев. Россия и русские / Перев. Н.И. Соболевского, под ред. А.А. Кизеветтера. — М., 1945.

10 Пушкин. Медный всадник. Часть вторая.

11 Речь идет о предыдущих главах книги Этторе Ло Гатто.

12 <sup>4</sup> \* Ф.М. Достоевский. Петербургская летопись (из неизд. произв.) / с предисл. В.С. Нечаева. — Пг. — Берлин: Эпоха, 1922; вышла также: Ф.М. Достоевский. Статьи за 1845—1878 гг. / под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. — М.-Л., 1930.

13 <sup>5</sup> \* Ф.М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях. В: Полн. собр. худож. произв. — М.-Л., 1926—1927. — Т. 4. В 1929 году были опубликованы два дополнительных тома с «Дневником писателя»; в 1930 году вышел 13 том со статьями с 1845 по 1878 год, он указан в предыдущ. прим. Я цитирую по этому изданию. Выражение «страна святых чудес» взята Достоевским из стихотворения Хомякова 1834 года.

Мы цитируем по Ф.М. Достоевский. Собр. соч. в 10 томах. — М., 1956. — Т. 4, ч. 68—69. Упомянутое стихотворение А.С. Хо-

мякова «Мечта» в: А.С. Хомяков. Стихотворения. М., [1861]. — С. 76—77.

14 6\* Н.Я. Данилевский. Россия и Европа. — Пб., 1871. Второе изд. вышло в 1888 г. Книга Данилевского была переведена на нем. яз. в 1920 г.: N.J. Danilewsky. Russland und Europa. Eine Untersuchung über die kulturellen und politischen Beziehungen der slavischen zur germanisch-romanischen Welt / übers. K. Notzel. Stuttgart-Berlin, 1930. Этому переводу прежде всего Европа обязана знакомством с идеями Данилевского.

15 7\* Работа O. Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte была опубликована в первый раз в 1917 году. Нам неизвестно, имел ли Шпенглер непосредственное знакомство с «Россией и Европой» Данилевского, немецкий перевод которого, как мы указали в предыдущем прим., был опубликован в 1920 году. В любом случае окончательная редакция работы Шпенглера вышла в 1922 году, следовательно он мог познакомиться с переводом книги Данилевского.

16 8\* Сочинение Генриха Риккерта, повлиявшее на Данилевского — Heinrich Rukert. Lehrbuch der Weltgeschichte in originärer Darstellung, в двух томах, Лейпциг, 1857.

17 Н.Я. Данилевский. Россия и Европа. — М.: Книга, 1991. — С. 54.

18 9\* Основное сочинение К. Леонтьева — «Восток, Россия и славянство», в двух томах; М., 1885—1886, было напечатано также в Собр. соч. в Издательстве В. Саблина, М., 1912—1914. Цитаты из основного сочинения взяты мною из оригинала, другие цитаты приводятся из очерка Н. Бердяева, так как не все сочинения Леонтьева были мне доступны.

19 10\* Я располагаю очерком Бердяева о Леонтьеве во французском переводе Nicolas Berdiaeff. Constantin Leontieff. Un penseur religieux russe du XIX siècle. Trad. d'Helene Iswolsky. Coll. «Les îles», Paris, s. a. Предисловие Бердяева к франц. изданию датируется 1936 годом. По-итальянски о Леонтьеве см. Evel Gasparini. Le previsioni di Costantino Leontiev, Milano-Venezia, 1947.

20 Цитата нами не обнаружена в русском изд. и приводится в переводе с итальянского.

21 Леонтьев К. Ук. соч., Т. 2, с. 95.

22 Там же, с. 280.

23 Там же, с. 310.

24 Там же, с. 189.

25 Приводим в переводе с ит.

26 Леонтьев К. Ук. соч., т. 1, с. 299.

27 Леонтьев К. Ук. соч., т. 2, с. 144.

28 11\* А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. VII, строфа XXXVI.

29 А.Н. Майков. Полн. собр. соч.: в 4 т. — СПб., 1914. — Т. 4, с. 216.

30 12\* Цитирую Кавелина по: С.Ф. Платонов. Петр Великий. Личность и деятельность, Париж, 1927, Гл. 3.

Мы цитируем по: С.Ф. Платонов. Петр Великий. Личность и деятельность. — Л.: Время, 1926. — Гл. 3, с. 22.

31 См. прим. 11.

32 14\* С.М. Соловьев. История России с древнейших времен (до 1774). М., 1851—1879; стереот. изд. вышло в Пб., 1894, в 29 т.

33 15\* В.О. Ключевский. Курс русской истории (до коронации Екатерины II), в 4 т., М., 1904—1910. Переизд. в М. — Л., 1923.

34 В.О. Ключевский. Соч. в 9 т., — М.: Мысль, 1989. — Т. 4, с. 202—203.

35 16\* Г. Гинс. Перевоплощение Петербурга // Новый журнал (Нью-Йорк), 1952, XXVIII.

36 А. Блок. Собр. соч. в 8 тт. — М. — Л., 1960. — Т. 3, с. 268—270. Стихотворение озаглавлено «Новая Америка».

37 17\* Wladimir Weidle. La Russie absente et presente, Paris, 1949.

38 18\* Для характеристики исторической обстановки в ее развитии, кроме упомянутой работы Вейдле, в которой немало ярких и насыщенных страниц, а также процитированной статьи Гинса, см. по-ит.: W. Giusti. Due secoli di pensiero politico russo; E. Lo Gatto. Moment e figure della storia russa, Firenze, 1953. Более подробно о зависимости между историческими событиями и умственно-духовной атмосферой в: E. Lo Gatto. Storia della Russia, 2 voll., Firenze, 1946 (особенно гл. XII и XVII ч. 3 т, 2, «Современная Россия»).

39 19\* Не имея под рукой оригиналов, цит. по Б. Филиппову. Петроград—Ленинград (Опыт литературного комментария к «Медному всаднику»), Грани, 1950, X, изд. Посев, Лимбург-Лан.

40 Б. Лившиц. Полутороглазый стрелец. — Л.: Сов. пис., 1989. — С. 77—78.

41 20\* Andre Gide. Retour de l'URSS, Paris, 1936. А. Жид. Подземелья Ватикана. Фальшивомонетки. Возвращение из СССР. — М.: Моск. рабочий, 1990. — С. 529.

42 21\* О.Э. Мандельштам. Стихотворения. — Л., 1928. В стихотворении О. Мандельштама в других изданиях подчеркнутое «советской» заменено на «январской».

43 См. прим. 30.

44 Б. Пильняк. Избранные рассказы. — М.: Худ. лит., 1935.

45 Б. Пильняк. Его величество kneeb Piter Komador // Ук. соч., с. 31.

46 22\* А.Н. Толстой. Петр I // Полн. собр. соч. М., 1946, т. IX. Примечания к роману составил А.В. Алпатов. Об истории создания «Петра I», его связи с произведениями прошлых лет о царе и значениях романа в истории русской советской литературе см. Векслер И.И. А.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь, Л., 1948, гл. 5; Падве С. О мастерстве А. Толстого в романе «Петр Первый» // Литература и действительность, М., 1959.

47 См. Н.П. Анциферов. Непостижимый город. — Л.: Лениздат, 1991. — С. 80.

Перевела с итальянского и работала с примечаниями Светлана Сомова.

# СУДЬБА РОССИИ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ И ПРОРОЧЕСТВАХ: Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ И К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

АЛЕКСАНДР СИВАК

Одной из неразрешимых до сих пор загадок русской культуры остается острое предчувствие грядущей трагедии, с которой русская интеллигенция открыла XIX век. Лучшие национальные умы непостижимым образом предсказывали гибель России и напряженно искали пути сохранения страны. Высокое чувство гражданственности выковывалось в резкой полемике либералов и консерваторов, славянофилов и западников, истовых монархистов и революционных демократов. Общественное сознание народа оказалось расколотым, а гражданское единство полностью разрушенным. Модус внутреннего взаимного отрицания превратился в принцип национального бытия русских людей. Охваченная страстной идеей спасения России, наша интеллигенция в порыве одержимости, незаметно для себя самой, подвела страну к тому страшному пределу, от которого намеревалась уйти.

Судьба отечества оказалась довольно тонкой материей и в другом отношении: в будущее можно верить, но можно и вероятностно просчитывать. Не обошлось без раскола и здесь, — одни стали доказывать правоту собственных воззрений, а другие — пророчествовать. Между сторонниками понимания и предвидения, однако, существовала удивительная преемственность. Фактологическое объяснение и религиозно-интуитивное предсказание в русской мысли никогда не были «инвариантными», но нередко становились взаимодополняющими. Одним из наиболее интересных примеров такого рода является интеллектуальная связь Константина Леонтьева и Николая Данилевского, людей разных философских убеждений.

Судьба идей Николая Яковлевича Данилевского интересна и во многом поучительна. Летом 1849 года молодой магистр ботаники, чрезвычайно увлекшийся общественной систематикой Ш.Фурье, был арестован по делу петрашевцев и провел более трех месяцев в Петропавловской крепости в ожидании суда. Следственное дознание завершилось для него вполне благополучно, до судебного разбирательства он был в административном порядке выслан в Вологду, а затем в Самару. По всему похоже, что он сделал для себя довольно серьезные выводы, и в течение следующих двадцати лет занимался вопросами рыболовства на Севере и Юге России, борьбой с филоксерой на виноградниках в Крыму и прочими естественнонаучными и хозяйственными делами, на почве которых стяжал авторитет и известность неутомимого труженика. Правда, Вл.Соловьев в статье о Данилевском, написанной для энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, называет заслуги последнего скромными<sup>1)</sup>, и это мнение, конечно, нельзя считать справедливым. Уже одно то, что Вл.Соловьев взялся писать о Н.Данилевском, говорит о многом. Как ученый-практик, Данилевский

отдал значительную часть жизни службе отечеству и много времени провел в тяжелых экспедициях и утомительных разъездах.

В.В.Зеньковский подсчитал, что из сорока шести работ, опубликованных Данилевским, тридцать шесть относятся к темам естествознания, в том числе и двухтомный труд «Дарвинизм», в котором были собраны почти все возможные для тех дней натуралистические и логические аргументы против теории естественного отбора и происхождения видов.<sup>2)</sup> Но увлечения молодости, подавленные политическими обстоятельствами, все же сохранились в душе Данилевского, — после унижительного поражения России в Крымской войне и смерти Николая I он вновь возвращается к социальным вопросам. Среди двенадцати его работ, связанных гражданской проблематикой, центральное место занимает книга «Россия и Европа», первоначально появившаяся в журнальном варианте в «Заре» в 1869 году. Публикация ее вызвала много эмоций и шума, возбудила активную и острую полемику, особенно между Н.Страховым и Вл.Соловьевым, которая завершилась так, как и кончаются обычно подобные споры — стороны остались при своих мнениях, утвердившись даже в них еще более основательно. А идеи «России и Европы» скоро получили весьма своеобразный отзвук в почвеннических «типических циклах» Ап.Григорьева, в «византизме» К.Н. Леонтьева и, совсем неожиданно, у А.И.Герцена в «Концах и началах».<sup>3)</sup>

Говоря о поучительности судьбы идей Данилевского, надо понимать некоторые очевидные вещи, — им было исторически уготовано то, что ждет, как правило, любую эклектическую теорию, созданную на объединении принципов, относящихся к противоположным направлениям интеллектуальных исканий. Натура естествоиспытателя-атеиста и душа верующего христианина, примиренные единством и цельностью его личности, оказались неодолимым препятствием в выборе им из тех гражданских течений, которые к тому времени сложились в русской мысли. Умом и трудом он, похоже, был близок западничеству, но духом, личным православием, сочувствовал славянофилам. Не стоит говорить, что политические обстоятельства в России так поляризовали гражданские настроения, что о сближении западников и славянофилов не могло быть и речи. Этими обстоятельствами и предопределилась странность и отчужденность философской позиции Данилевского, его идеи создавали теоретический прецедент одинаково опасный и разрушительный и для западничества и для славянофильства.

Все рассуждения, которыми наполнена «Россия и Европа», по своему содержанию и характеру проникнуты исключительно духом славянофильской традиции. Начиная с убеждения о высокой духовной будущности России и кончая размышлениями о ее всечеловеческом предназначении, — круг таких чувств и мыслей исчерпывающим образом замыкает контекст не только «России и Европы», но и всех прочих статей Данилевского. Как и все славянофилы, он исповедует особый путь России... Но, увы, именно здесь и возникают первые проблемы. Как естествоиспытатель, привыкший к дискурсивному размышлению, он не мог принимать на веру того,

что требовало доказательств. России принадлежит великое духовное будущее и важная культурно-историческая роль, но почему? Для А.С.Хомякова, И.В.Киреевского, И.С.Аксакова, при всем несходстве их частных воззрений, подобный вопрос никаких трудностей не вызывал и решался просто, — предназначение России понималось по-христиански, мессианизм освящал ее роль православной благодатью. Их идеи, оформленные философской терминологией, в основании имели не науку и даже не философию, а неколебимую православную веру. Для них христианство было живой культурой, но для верующего натуралиста Данилевского православное постижение русской судьбы оборачивалось пониманием, требовало аргументации и доказательств. Он вынужден был доказывать то, что доказать невозможно. В этом смысле, в противоположность славянофилам, он утратил фундаментальное, существенное качество — духовную органичность. Славянофильство, как, впрочем, и западничество, были целостными и внутренне ограниченными интеллектуальными явлениями, на их фоне теоретический пример Данилевского выглядел тяжелым диссонансом, лишенным с ними созвучия. Н.А.Бердяев, рассматривая причастность Данилевского славянофильству, после осторожных раздумий нашел точную мысль: «У Данилевского же остается полный дуализм между его личным православием и его натуралистическими взглядами на историю».<sup>4)</sup>

Когда славянофилы возвещали грядущее величие России, это была естественная и органичная надежда, для которой не требовалось собирать доказательства и составлять калькуляцию из фактов; каждый, кто так думал, ограничивался чувством личной веры и полагал это вполне достаточным. Однако Данилевский, решил надежду на Россию сделать не просто аргументированной, но строго доказательной и, не понимая ответственности такого шага, вступил на тяжелый и опасный путь. Имея дело с социальной «материей», а не с природной, он недооценивал, что вера в вопросах социальных имеет заметные преимущества перед научным знанием. Каждое доказательство в области общественных проблем обычно усиливает сомнения и приглашает к спорам о предметах, которые при сохранении веры в них остаются бесспорными. И не удивительно изначальная тщетность усилий Данилевского подвести научный, натуралистический фундамент под совокупность славянофильских идей, обусловленных религиозными чувствами и надеждами.

Сказанное заставляет задуматься, а был ли Данилевский славянофилом по своим духовным интенциям? Для понимания его воззрений вопрос важный, тем более, что историками русской философии решался он по-разному. Резко враждовавшие в печати Вл.Соловьев и Н.Страхов, вероятно наиболее авторитетные знатоки Данилевского, потратившие на изучение его публикации довольно сил, обнаруживают в данном пункте удивительное единодушие и спорят о нем как о славянофиле. Бердяев, свободный от полемического ажиотажа, кажется, так и не пришел к окончательному выводу, и закрыл для себя эту тему, объявив Данилевского «переродившим-

ся славянофилом», лишенным универсализма.<sup>5)</sup> Но в большинстве других случаев за автором «России и Европы» прочно закрепилась репутация славянофила «второго поколения».<sup>6)</sup>

Допустим, что несмотря на отмеченные различия между ним и славянофилами, Данилевский все же принадлежит этому направлению русской мысли. Но что тогда, кроме внешнего признания своеобразия русской культуры и истории, отразившегося в конструировании особого славянского типа, связывает Данилевского с такими мыслителями, как Хомяков, И.Киреевский или К.Аксаков? Нельзя же считать одного этого совпадения идей достаточным основанием их духовного единства. Насколько известно, западники, начиная с П.Я.Чаадаева, тоже не отрицали своеобразия России и ее отделенности от Запада.

Обращение к фундаментальным принципам славянофильства и сопоставление с ними тех положений, которые воздвигаются в «России и Европе», показывает, что Данилевский не просто отходит от славянофильских принципов, но некоторые из них сознательно нарушает и даже уничтожает. Начнем сравнение с того, что славянофильство обладает явно выраженным религиозно-философским характером, тогда как взгляды Данилевского представляются естественно-научной аппликацией, приложенной, пожалуй, не столько к изучению, сколько к истолкованию истории в славянофильском духе. Взгляд Данилевского на Россию в корне отличается от взгляда любого из славянофилов. Он всегда оставался натуралистом, сторонником «органической теории», традиция которой в русской философии восходит к Д.М.Велланскому, а затем к Т.Р.Грановскому, положившим начало идее «органицизма» для изучения истории и понимания «народного духа». Разумеется, среди славянофилов такие стремления заметного отклика не находили, единственным исключением здесь, может быть отчасти, являлся К.Аксаков. Никому из них на ум не приходило испытывать веру эмпирическим знанием, а в государстве видеть «организм».

Трудно встретить у славянофилов и чувство глубокой национальной нетерпимости к Европе, которая у Данилевского, как мы увидим, достигает почти крайнего предела и становится отправной точкой рассуждений. Хомяков, И.Аксаков и другие хорошо сознавали как прочно судьба России связана с историей и культурой Запада. Чтобы понять Россию нужен был критический взгляд, обращенный вовне, или взгляд, обращенный извне; тем самым деление отечественной мысли на западничество и славянофильство, вызванное ростом национального самосознания, было предопределено объективными обстоятельствами. Западники смотрели на Россию извне, симпатизируя европейским культурным началам; славянофилы, напротив, смотрели из России вовне, сравнивая ее с Европой, чтобы окончательно разобраться в русской оригинальности и своеобразии. Данилевский тоже остается в России и взирает на Европу, но его взгляд — взгляд убежденного врага западной культуры, а не взор снисходительного славянофильствующего неопита. Если И.Киреевский напоминал об опасности «чисто рус-

ского направления» и предостерегал своих сподвижников от националистической ограниченности, то для Данилевского уроки Крымской войны, наглядно преподанные России Западом, не оставили никаких иллюзий. Запад успокоится лишь тогда, когда мощь России будет подорвана окончательно.

Славянофилы рассуждали так: Россия моложе всех из сильных европейских государств и появляется на исторических подмостках мировой культуры довольно поздно. Разве может быть ее появление случайным, не предусмотренным сокровенным смыслом высшего промысла? На Западе что-то не осуществилось, европейским народам что-то оказалось не под силу сделать, и тогда произошел исторический толчок, вызвавший Россию из небытия с ее особой, высоко мистической ролью. Но Данилевский не желает видеть ни общности, ни связи России и Европы, он настаивает на непримиримости их культурно-исторических начал и доказывает неизбежность столкновений и войн. И, если для славянофилов западная и русская культуры взаимодействуют и сосуществуют, и взаимодействуют в общем контексте мировой истории, то Данилевский созданием своей теории бросает прямой вызов этой идее и ставит под сомнение существование общего и единого для человечества исторического процесса. Более того, самую мысль о всемирной истории он провозглашает величайшей умышленной ложью. Он обвиняет западноевропейских мыслителей в том, что они поколениями преднамеренно выстраивали эту грандиозную ложь, преследуя своекорыстные цели — навязать исподволь свою культуру, традиции, нравы, привычки, общественные и государственные начала всем народам, которые пока сохраняют национальную самобытность.

Размышляя о русском своеобразии и одиночестве исторической судьбы, славянофилы искали религиозно-нравственной завершенности и гармонии гражданской жизни в России. С искренней тревогой отмечали они угасание в Европе нравственно-духовных начал и непомерное, искаженно-преувеличенное возбуждение материальных, экономических интересов. В самих по себе материальных стремлениях ничего плохого нет, это они хорошо понимали, но их беспокоило другое. Погоня за материальным достатком на Западе обернулась деградацией духовных принципов и начал народной жизни и государства, когда традиции и обычаи обезличиваются и заменяются бездушными, механическими законами, при которых честь, достоинство и, наконец, истина устанавливаются с помощью судебных тяжб и состязаний. Их пугало, что в Европе конституционное устройство государств шло стремительно на смену веками складывавшемуся естественному порядку монархии, созданной стихией исторического духа. Славянофилы увидели во всем этом западном настроении одностороннее развитие начал рассудочности в ущерб началам религиозно-нравственным. Рассудочность, уверяли они, вызовет невероятный взлет рационализма, который в человеческих отношениях станет энергичным толчком к развитию житейского эгоизма и теоретического индивидуализма, разрушающих естественное, нравственно-традиционное единство народа и государства. Они не всегда внятно, но довольно настойчиво предрекали обще-

ственное одиночество и нравственное одичание людей, превращение государства в страшную и чуждую для человека силу, которая для своего укрепления станет все чаще и чаще обращаться к прямому принуждению граждан. Происходит грозное и незаметное для многих дело, убеждали славянофилы. Нарушается единство человеческого мира, установленное христианской культурой. Стихийные политические силы разрушают христианскую религиозную коллективность, создавая у людей иллюзию исторической свободы и подталкивая их к совершенному над историей насилия и произвола. Отвлеченные размышления славянофилов о культурных перспективах человечества отнюдь не пустой звук, и разговоры о христианстве и православной вере не напрасные мечтания — таким видели они путь восстановления человечеством своего внутреннего единства и возвращения к естественному и безопасному состоянию. И, конечно, не случайно критика Запада у них носила преимущественно религиозный характер. Церковное разделение Запада и России они воспринимали как величайшую трагедию христианской культуры, поставившую мир на край апокалиптической пропасти. Католичество и протестантизм, по их мнению, не справились со своим историческим предназначением. Остается одна надежда, надежда на православную Россию.

Крымская война нанесла сокрушительный удар России и славянофильской вере в ее высокое предназначение. Парижский конгресс не оставлял сомнений в том, что Запад не устраивает не только сильная Россия, но даже ее влияние на Балканах и в Восточной Европе. Политика ставила под серьезное сомнение подобные ожидания и провоцировала у славянофилов развитие антиевропейских, изоляционистских настроений. Романтический период славянофильства завершается, теперь И. Аксаков делает признание: «Пора понять, что ненависть, нередко инстинктивная, Запада к славянскому Православному миру происходит от глубоко скрытых причин; причины эти — антагонизм двух противоположных просветительских начал и зависть дряхлого мира к новому, которому принадлежит будущее. Пора нам наконец принять вызов и смело вступить в бой с публицистикой Европы за себя и за наших братьев славян».<sup>8)</sup> Этот призыв был услышан Данилевским.

Запад ненавидит Россию. Таким откровенным признанием открывается книга «Россия и Европа». По мнению Данилевского в основании этого чувства лежат два западных «обвинения России». Первое связано с тем, что «Россия колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы и, следовательно, угрожающее спокойствию и независимости Европы», и второе — что «Россия — мрачная сила, враждебная прогрессу и свободе».<sup>9)</sup> Он отводит эти обвинения, заявляя, что русский народ создавал свое государство с помощью свободного расселения, а не насильственного присоединения или завоевания. Исторически сложилось так, что Россия включала в свой состав племена, «еще не жившие самостоятельной исторической жизнью».<sup>10)</sup> По отношению к ним завоевание просто невозможно, потому что с присоединением к Рус-

скому государству самостоятельная жизнь таких народностей не только не прекращалась, но, напротив, получила единственную возможность развития.

Правда, замечает Данилевский, здесь есть исключения: Запад обвиняет Россию в присоединении Финляндии и Польши. Он опровергает и эти упреки, поясняя, что к моменту присоединения к России Финляндия своей самостоятельной государственно-сти не имела и в качестве провинции принадлежала Швеции. Более того, переход ее под русскую юрисдикцию сопровождался получением финнами равноправия их языка со шведским и ряда других прав, прежде им недоступных. Вопрос о разделе Польши, по его мнению, гораздо сложнее и состоит из двух частей. С одной стороны, русское государство сделало то, что было обязано сделать и без раздела — вернуло свои земли, захваченные ранее Польшей, а, с другой — ответственность за уничтожение польской государственности лежит не на России, а на Пруссии и Австрии, притязания которых были лишены оснований.

Данилевский открыто говорит, что применение правил христианской нравственности к межгосударственным и международным отношениям есть глубокое заблуждение, происходящее от смешения понятий и доказывающее «непонимание тех оснований, на которых зиждется высшие нравственные требования». <sup>11</sup> Что является высшим требованием нравственного закона, спрашивает он, и сразу же отвечает — самопожертвование! Однако нравственность самопожертвования, определенная духовной сущностью человека, имеет в качестве неперемного условия веру в личное бессмертие. Если же для человека жизнь завершается только земным существованием и загробное воздаяние ставится под сомнение, нравственные обстоятельства и поведение человека изменяются. Человек неизбежно должен стать другим, если его поступки выводятся не из религиозных требований нравственности, а из обстоятельств земной жизни. Что же касается государства и народа, то они обладают исключительно земным бытием и практическими, а не отвлеченными, нравственными интересами. Принципы государственности исключают бескорыстие и любовь в качестве начал и восстаивают необходимость «здраво понятой пользы». <sup>12</sup> Мнимое славянофильство Данилевского здесь изменяет доминанту в истолковании Русского пути. Из религиозного этот путь становится политическим.

Приглашая проследить общее отношение Запада к России, Данилевский ищет ответы, «основанные на фактах». В таком случае единственно уместным средством их установления и интерпретации для него оказывается естественно-научный подход. Так им совершается вторая трансформация славянофильства, несовместимая с исходными принципами этого интеллектуального направления. Предпринятые им шаги существенно изменяли не только внешний облик, но и внутреннее содержание славянофильства, нанося ему серьезные разрушения и изменяя перспективу и горизонты.

На основе произведенной реконструкции, заменившей веру поиском доказательств, Данилевский

строит своеобразную философию истории. Теперь отправной точкой рассуждений для него становится вопрос: «Европа ли Россия?» Он доказывает, что Европа, так же как, впрочем и Россия, понятие не географические, а культурно-исторические. То, что именуется Европой есть не что иное как путь, пройденный «романо-германской цивилизацией» и в этом смысле Европу нельзя смешивать с «общечеловеческой цивилизацией». И вообще, у него нет сомнений, что европейская история «не составляет поприща человеческой цивилизации».

По мысли Данилевского уже давно пора преодолеть распространенное заблуждение, истолковывающее европейскую культуру как культуру общечеловеческую. Европа представляет собой всего лишь одну из многих исторически локальных и замкнутых исторических цивилизаций, она — просто романо-германская цивилизация. И, таким образом, для России не только нет необходимости «вживаться» в европейскую культуру, но, напротив, это опасное стремление, основанное на умственном заблуждении. «По истине, горюю, рождающей мысль, — пишет он, — каким-то громадным историческим плеоназмом, — чем-то гигантски лишним является наша Россия в качестве носительницы европейской культуры. Мы приходим к тому заключению, что она — не только гигантски-лишний, громадный исторический плеоназм, но даже положительное, весьма трудно-преодолимое препятствие к развитию и распространению настоящей общечеловеческой, т.е. европейской или германо-романской цивилизации. Этого взгляда и держится Европа относительно России». <sup>14</sup> А русская западнически ориентированная интеллигенция большей частью по недомыслию разделяет эти в основе своей антирусские взгляды.

Все попытки России культурно и политически ассоциироваться с Западом, думает Данилевский, обязательно вызовут у русского народа чувства национального достоинства и патриотизма, посеют в его сознании зерна горького сомнения в смысле существования самой русской государственности. Западнические настроения в любом виде, как ему кажется, не могут не ослаблять народного начала, фундаментальных оснований национальной культуры. Уместно задаться вопросом, ради чего приносятся подобная жертва? Многие из русских ослеплены блеском Европы, ее материальными и техническими достижениями, но не замечают, что европейская культура развивается односторонне. Здесь Данилевский повторяет известные славянофильские обвинения Западу с той лишь разницей, что они приобретают форму не религиозно-нравственного, а политического приговора. Жертвы, приносимые русским народом европейской культуре ради единения с нею, совершенно того не стоят, и ничего, кроме ненужного, пустого напряжения сил и последующих страданий не принесут. Выход следует искать на пути укрепления русских государственных и гражданских начал. Россия должна, в конце концов, проявить спасительную национальную гордость и прекратить считать себя Европой. России пора перестать стесняться своей национальной оригинальности и самобытности. Она может сохранить себя от исторической гибели в самом ближайшем будущем лишь в одном случае, когда осознает свое национальное до-

стоинство и поймет, что представляет собою целый мир, отнюдь не слабее западного в своих потенциях, а во многом даже имеющим преимущества. Россия смогла осуществить самостоятельно то, что европейские страны делали сообща, коллективно, — она создала особый культурно-исторический тип, причем не уступающий другим типам, в том числе и западно-европейскому.

Переходя к доказательствам относительно периодизации истории, Данилевский замечает, что «отыскание и перечисление этих типов не представляет никакого затруднения, так как они общеизвестны». «За ними, — добавляет он, — только не признавалось их первостепенное значение». Фактически он видит свою задачу в исправлении этого досадного промаха своих предшественников и перечисляет культурно-исторические типы как полностью изолированные и самостоятельные: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассиро-вавилонско-финикийский, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-семитический, 10) германо-романский (или европейский). Кроме культурно-исторических типов, которые определены как «положительные деятели истории», существуют также «временно появляющиеся феномены», как, например, гунны, монголы, турки, которые, по Данилевскому, представляют исторически «отрицательных деятелей». И, наконец, в истории существуют и «нейтральные деятели», скажем, финские племена, не достигающие культурно-исторической индивидуальности и особых типов не создающие.<sup>15)</sup>

Искусственность и надуманность историко-культурной типологии, созданной Данилевским, ее вторичность, заимствованность из немецкой философии, часто становилась предметом критики, лучшие образцы которой принадлежат, несомненно, Вл.С.Соловьеву.<sup>16)</sup> Обстоятельно, с присущей ему тонкостью мысли, оценивал их и Н.А.Бердяев. Он вообще признавал теорию культурно-исторических типов «срывом в осознании русской идеи».<sup>17)</sup>

Самым заметным изъяном теории, созданной автором «России и Европы», стало отрицание человеческой истории как единого взаимозависимого процесса. Он исходил из полностью ошибочного предположения, что «передать цивилизацию какому-либо народу очевидно значит заставить этот народ до того усвоить себе все культурные элементы, чтоб он совершенно проникнулся ими».<sup>18)</sup> Народы конкретного культурного типа перенимают, по его мнению, из чужого опыта лишь то, что стоит «вне сферы народности», т.е. достижения науки, техники, промышленности и искусства. И при этом единой общечеловеческой цивилизации не существует, она заменена «вненародной передачей» достижений от одного типа к другому. Естественно, когда исторический процесс рассматривается как механически бесконечная последовательность замкнутых культурных типов, невозможно мыслить развития и тем более прогресса. Каждый из культурных типов, вступая в историческое существование, проходит внегосударственную, так называемую «этнографическую фазу», во время которой он как бы накапливает энергию для

будущей самостоятельной жизни. От этого накопления зависит и то, обретет ли этот тип самостоятельность, то есть реализует ли себя как тип, и то, насколько быстро он растратит свою внутреннюю энергию, другими словами, насколько долго будет существовать, превратившись в самостоятельный исторический тип. В итоге, идея прогресса, по Данилевскому, так же иллюзорна и ошибочна, как и идея общей всемирной истории. «Прогресс, — поясняет он свою мысль, — состоит не в том, чтобы идти все время в одном направлении, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях».<sup>19)</sup>

Надо отдать Данилевскому должное, его теория «топчущегося прогресса» выглядит в высшей степени оригинально. Вопрос лишь в том, насколько она соответствует действительности? Признание «топчущегося прогресса» для России, конечно, не было спасительным и перспективным. Более того, оно стало теоретическим оправданием консервативно-охранительских призывов, недостатка в которых тогда не существовало.

Полемика вокруг «России и Европы» концентрировалась еще в одном пункте, который никак нельзя обойти вниманием. Идеи Данилевского служили интеллектуальной основой для практического национализма. Славянофилы благополучно преодолели эту опасную односторонность, но Данилевский исповедует национализм умышленно, вполне обдуманно. Политическое противопоставление России Западу совершенно невысказано без этой идеи, которая неизбежно превращалась в главную несущую конструкцию всех рассуждений Данилевского. Понимая непопулярность национализма, особенно в контексте воодушевленного панславизма, вошедшего тогда в большую моду, Данилевский стремится представить дело так, что славянофилы первыми в русской мысли воздвигли фундамент для национализма. Именно потому, считает он, славянофилы оказались обособленными и вызвали «всеобщий смех и глумление».<sup>20)</sup> И все по той причине, что утверждали они национализм опасно и слишком острожно. Они стали жертвами излишней осмотрительности. Необходимо не только прозорливость и чистота идеи, но и личная смелость, и независимость мысли, чтобы под «нищенским покровом России» увидеть и доказать всем, и в первую очередь самим русским, наличие там самобытных и вечных сокровищ.<sup>21)</sup> По Данилевскому славянофилы оказались слабы духом и, к своему несчастью, попались на идею общечеловеческой морали и общечеловеческих начал, умышленно созданной европейскими мыслителями. Данилевский в одиночку, тяжелым молотом своих рассуждений, берется сокрушить идею существования в истории и культуре общечеловеческого начала. Запад специально создал эту интеллектуальную химеру, чтобы ослабить национальный дух России и славянских стран, подчинить их себе и не дать развиваться их самобытному типу. По его мнению, славянофилы стали наивными простаками, попавшимися на тонкую умственную уловку. Свои лучшие мысли и чувства, пламенные надежды они посвятили вере в способность разрешить общечеловеческую задачу, которую нельзя решить, потому

что такой задачи просто не существует. «Общечеловеческого не только нет в действительности, — подчеркивает он, — но и желать быть им — значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом довольствоваться невозможной неполнотою... Иное дело — все человеческое, которое надо отличать от общечеловеческого; оно без сомнения выше всякого отдельно-человеческого, или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного... Всечеловеческой цивилизации тоже не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или лучше сказать идеал, — достижимый последовательным развитием всех культурно-исторических типов.»<sup>22</sup> Приведенное рассуждение показывает, что основной акцент в существовании цивилизации (или типов) делается на национальных началах, на принципиальном их предпочтении другим, в том числе религиозным и государственным, принципам. Данилевский не раз повторял, что идея национальности для русского культурного типа должна оставаться высшей идеей, составляющей самую суть русской цивилизации. «Я говорю, — писал он, — что даже и религия есть понятие, подчиненное цивилизации. Это справедливо по отношению к государству и другим обществам...»<sup>23</sup> Россия составляет основу славянского культурно-исторического типа и это событие изображается Данилевским как уникальное не только потому, что России уготована судьба решить те исторические задачи, с которыми не справилась Европа, но, главным образом, потому, что это самый полный и универсальный, «четырёхсоставной», из всех предшествующих ему типов. Русско-славянская цивилизация впервые в истории в полном объеме осуществит четыре «разряда культурной деятельности»: религиозную, политическую, культурную и общественно-экономическую. Этим она отличается и от греческой, развившей исключительно культурный «разряд деятельности», и от римской, развившей государственный, и от еврейской, развившей религиозный «разряд». Главное условие становления русско-славянского культурного типа, по Данилевскому, теперь было связано с борьбой с Западом, влияние которого подрывало силы России даже изнутри. Духовное здоровье русской нации поражено тяжелым недугом — «европейничаньем» и оттого страдает неполнотой. Основные черты этого заболевания, в представлении Данилевского, выглядят так: изувеченный народный быт и насильственное «вчинение» европейских культурных форм, необдуманная пересадка на русскую почву европейских юридических и государственных начал, обусловленные наивными соображениями, что «хорошее в одном месте и везде должно быть хорошо», и, наконец, отчужденный взгляд русских на свое отчество, взгляд «с европейской точки зрения».<sup>24</sup> Данилевский замечает, что европейское влияние, как ветер, выветривает верхние слои нации, только низшие ее слои пока остаются по-настоящему русскими. Но это пока. Не трудно предположить, что станет с нею дальше, если этот процесс не остановить. Данилевский обвиняет русскую интеллигенцию в утрате народного характера, создании отчужденности от родины и гражданского

раскола. В таком состоянии рассчитывать на осуществление высокого предназначения России трудно.

Книга Данилевского открыла в истории русской мысли период открытой борьбы с Западом, период обвинения его в агрессивном мессианизме, направленном против России. Данилевский ставит вопрос о политической реализации идеи русской «народности» как идеи русского национализма. Одновременно с этим он поставил под сомнение реальное существование общечеловеческих и, таким образом, христианских ценностей, а также всеобщей истории. Восстанавливая русский национальный дух на основах политики, он нанес ему тяжелейший нравственный удар, раздавил его высокие порывы, заменив взыскующую веру эмпирической калькуляцией заблуждений, принятых в качестве доказательств.

Книга Данилевского оказалась довольно быстро забытой, но влияние ее на последующее развитие общественной мысли в России нельзя недооценивать. Среди тех, кто испытал ее непосредственное воздействие, следует назвать К.Н.Леонтьева. Идеи Леонтьева по своему происхождению и некоторым внешним особенностям казались довольно близкими славянофильству, но по существу были противоположны, даже враждебны ему. Между Леонтьевым и славянофильством стояла система взглядов Данилевского, которого он высоко ценил и безоговорочно признавал его влияние: «Данилевский дает нам в руки мерило твердое — особый культурный тип (особый, независимо, пожалуй, от того, насколько он хорош, морален и т.д.)».<sup>25</sup> Имя Константина Николаевича Леонтьева сейчас возвращается в национальную культуру после долгого и несправедливого забвения. Его идеи в настоящее время оказываются необычно злободневными и глубокими.<sup>26</sup>

Леонтьев начал свои рассуждения довольно оригинально: откуда, собственно, появилась в мировой истории Россия, прежде чем дойти до кризиса в середине XIX века? Можно только гадать, как стал бы отвечать он на этот вопрос, не появившись к тому времени Данилевский со своей книгой «Россия и Европа». Эта книга стала настольной для Леонтьева, но из ее чтения он делает собственные выводы, входящие в противоречие с теми, которые утверждались Данилевским. Перспективы России как «славянского типа» Леонтьев не видит на пути национализма и отказа от религиозно-нравственных начал.

История России, рассуждает он, своим началом и основополагающими государственно-национальными и религиозными принципами неразрывно связана с Византией. Будущее России невозможно понять из нее самой, из того действительного положения, в котором она оказалась ко второй половине XIX века. Оно может быть понято только из ее исторического развития, из тех основ, на которых возникли ее государственность, религия и народность: традиции и уклад жизни. Основание России, по мысли Леонтьева, составляют три исходных принципа: византийское самодержавие, византийское православие и византийские нравы. Византийский дух образует сложную ткань нервной системы, связывающей и пронизывающей весь организм России.

Фундаментальные начала России были заимствованы у Византии, которая дала русским также национальный характер и культурную идею.

Хотя на первый взгляд рассуждения на тему византизма могут выглядеть отвлеченной казуистикой, на самом деле в них затрагивались темы серьезного философского и политического значения. Претендуя на разъяснение отечественных гражданских реальностей, таких, как самодержавие, православие и народность, Леонтьев подводил к мысли, что все общественные идеи, существующие в России, не стоят и ломаного гроша. Пора прекратить рассуждать и что-то друг другу доказывать, надо, наконец, по-христиански примирить гордыню общественного разума с божественной, непостижимой тайной византизма и отказаться от бесконечных иллюзий гражданской любознательности. Мы принадлежим только внешне русской культуре, а внутренне ее содержанием является византизм. В самом начале своей истории Россия все, и монархию, и православие, и обычаи, получила в готовом виде! Наша страна тысячелетие держалась исключительно византийским чувством и порядком. Именно они сплотили ее в единое и огромное целое, дали силу противостоять многочисленным врагам в бесконечных войнах. Византизм внутренне целесообразен для России и является ее единственной «скрепой». Бывали в ее истории времена, когда политическое настроение ставило самодержавие под угрозу, например в «смутные годы» начала XVII века, и что же? — византийское православие возбуждало патриотизм, объединяло народ, прекращало гражданские распри и спасало страну. Православие всегда исполняло роль взаимодополняющего политического основания для самодержавия, способного его спасти и восстанавливать в силе. Оно придавало монархическому началу душевный, сокровенно интимный характер, связывая его с религиозной верой. Все мужицкие мятежи на Руси, подчеркивает Леонтьев, совсем не случайно всегда были монархическими, и потому с ними сравнительно легко справлялись — «в душах бунтующих жили глубокие консервативные начала». Русские бунты, по его мнению, если что и доказывают, так только естественность и жизнеспособность русского самодержавия, имеющего народный характер и связанного с православной верой. «Можно, не колеблясь, сказать, — пронизательно замечает он, — что... никакая пугачевщина не может повредить России, как могла бы повредить ей очень мирно, очень законная демократическая конституция». <sup>27</sup> Демократизм не впишется никогда в исконно русскую историческую систему самодержавия-православия, он инороден и страшно разрушителен для русского политического и гражданского уклада. В России нет свободы, ну и что из того? В ней их никогда не было, да и не могло быть по той причине, что византизму свобода не только не знакома, но и совершенно чужда. Вместо нее византизм содержит идею деспотизма, сильной власти.

Запад, отмечает Леонтьев, опасен для России, но не тем, на что показывал Данилевский, а лживой пропагандой демократизма, иллюзий всеобщего счастья, равенства и братства. Кто, где и когда, спрашивает он, видел государство без насилия, боли и

притеснения, без крови и несправедливости, без настоячивых гонений инакомыслящих? Люди гуманные? Да, такие есть! Но государств добрых и человеколюбивых не бывает! Сердечной и милосердной может быть душа государственного правителя, но наций и государств доброжелательных и добродушных не существует. Человек и государство — явления совершенно разные; первое — это живое существо, наделенное мыслью и чувством, второе — обезличенная идея, воплощенная в определенный общественный порядок, строй. Идея и есть идея, она жестока и неумолима, как природа и как государство, которое ее выражает и отстаивает. Идея демократического уравнительного блага, как и идея прогресса, возглашающая равенство, свободу, одинаковые для всех граждан условия жизни — все эти надежды неосуществимы и находятся в решительном противоречии с законами природы и историческими реалиями. Вместо декларации свобод и равенства необходимо вернуться к естественному объяснению явлений гражданской жизни, смирить нравственную гордость и укротить политические претензии. Почему мы не ведем речь о бесправии человека перед природой и все трагедии человечества связываем с государственным деспотизмом? Почему мы не требуем гуманности от природы, а от государства неумолимо добиваемся? Хотя в глубине души догадываемся, что ни то, ни другое для гуманности не создавалось. Для естественного понимания, не искаженного гуманистическими пожеланиями, человек есть не более, чем природная и общественная вещь. Природа и государство безличны и глухи к стремлениям и чаяниям людей, им не слышны человеческие страдания, нищета, несчастья и трагедии. Страдания повсеместны, сопровождают жизнь каждого народа со времени возникновения и до гибели его государственности. И идея демократии, как всеобщего блага будет во всех попытках ее воплощения сопровождаться историческими страданиями и горем.

Человек, по Леонтьеву, не безразличен только одному Богу. Но христианство не верит в возможность переустройства земного общества, как не верит и в разум собирательного человечества, призванного создать рай на земле. «Помните, — предостерегает Леонтьев, — что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут... Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать когда-нибудь конец. А если будет конец, то какая нужда нам заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непонятных нам поколений? Как мы можем мечтать о благе правнуков, когда мы самое ближайшее к нам поколение — сынов и дочерей — вразумить и успокоить действиями разума не можем? Как можем мы надеяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина, или разгадка земной жизни, до сих пор скрыта для нас за непроницаемой завесой; когда и великие умы и целые нации постоянно ошибаются, разочаровываются и идут совсем не к тем целям, которые они искали? Победители впадают почти всегда в те са-

мые ошибки, которые сгубили побежденных ими, и т.д... Ничего нет верного в реальном мире явлений. Пройдет время и именно такая философия станет основанием будущей науки, но до этого будет долгая полоса „ужасающих разочарований“».<sup>28)</sup>

У Леонтьева, в отличие от всех русских религиозных философов, не было искания царства Божия на земле, как и не было и намек на теократическую идею. Он не верил в окончательное слово теории, созданной слабым, ограниченным и грешным человеком. «Окончательное слово? — спрашивал он. — Что такое окончательное слово на земле? Окончательное слово может быть одно: Конца всему на земле! Прекращение жизни и истории».<sup>29)</sup>

Никто не желает смотреть на общество и государство беспристрастно, судить о них не по иллюзорным целям всеобщей гуманности и демократии, а по конечным целям бытия. Деятельный век близится к концу, размышлял Леонтьев, и революционные события в Европе показали как будут устанавливаться всеобщее счастье и равенство. Демократизм порождает кровавое заблуждение революций, которое не может не убеждать нормальных людей, что они никогда не могут и не должны быть равны, и благоденствия никогда никакого не будет. Страдания, конечно, способны видоизменяться, но они останутся обязательно. И, если что-то назревает в России, то следует понять что это может быть. Леонтьев видит два пути, по которым должна идти Россия: один ведет ее к подчинению западной культуре и неизбежному «растворению» в ней, другой связан с сохранением национальной самостоятельности и своеобразия, обособленностью от Запада и восстановлением принципов византизма. В отдаленной перспективе первого пути отчетливо вырисовываются очертания социализма, который погубит Россию. Второй путь означает сохранение исторической преемственности: самодержавной монархии, православия и византийского уклада национальной жизни. И он делает безоговорочно выбор второго пути.

Константин Леонтьев был первым убежденным пророком грядущего русского апокалипсиса и он нашел в себе силы бросить вызов общепринятым идеям и ценностям, касающимся будущего России. Ни у кого из русских мыслителей нельзя найти такого остро ощущения неотвратимой беды, грозовой тучи, собравшейся над страной. Его пронизательность просто потрясает! Общественное мнение современников с энтузиазмом наваливается на обсуждение высоких и счастливых перспектив, которые сулят демократия и свобода, с неустрашимой надеждой крушит («на плаху пойдем!») общественные порядки и государственный строй, а Леонтьев в это время говорит совсем о другом, о том, что Россия стоит в преддверии катастрофы, которой нет равной во всей ее истории. И катастрофа эта неотвратима, неизбежна. Демократия движется в Россию, как троянский конь. Братство, равенство, свобода, благоденствие — все эти внешние признаки будущего, настолько же радостные и счастливые, насколько горестными и трагичными станут последствия, которые они принесут русскому народу под своей лживой личиной. Обманут социалисты и коммунисты, неистово возглашает Леонтьев. Движение России к

предстоящей трагедии, по его мысли, является объективным, имеющим собственные истоки, динамику и цель. За ним скрывается мощная и таинственная сила, стоящая вне человеческих соображений, и несравненно выше их.

Проницательность Леонтьева имела интуитивный характер, он ничего не объяснял и не доказывал, он пророчествовал. По своему характеру он представлял собой классический тип религиозного проповедника. Долгие годы в полных неистового трагизма произведениях Леонтьева не видели ничего, кроме реакционного консерватизма. Исторический спор его с социалистами и сторонниками теории прогресса окончился победой последних. Но какой ценой? И окончился ли? Ответы на эти вопросы, вероятно, выходят за пределы нашего времени и не являются окончательными. Ясно сейчас только одно: религиозное постижение истории и ее научное объяснение различаются глубиной взгляда и широтой горизонта.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Соловьев Вл.С.Данилевский. Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Т. 10. СПб, 1893, С. 80.
2. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. Париж, 1955, С. 132.
3. Бердяев Н.А. Русская идея. // О России и русской философской культуре. М., 1990, С. 352.
4. Там же. С. 99.
5. Там же. С. 98-99.
6. См.: Кареев Н.И. Теория культурно-исторических типов. Историко-философские и социологические этюды. СПб, 1899; Милоков П.Н. Разложение славянофильства. Из истории русской интеллигенции. СПб, 1902; Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа.
7. Галактионов А.А. и Никандров П.Ф. Русская философия IX-XIX вв. 2-е изд. Л., 1989, С. 17-18, 270-277.
8. Цит. по: Зеньковский В.В. Ук. соч., С. 124.
9. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб, 1888. С. 21.
10. Там же. С. 23.
11. Там же. С. 31-32.
12. Там же. С. 32.
13. Там же. С. 60.
14. Там же. С. 63-65.
15. Там же. С. 91-93.
16. Соловьев Вл.С. Национальный вопрос в России. Вып. 1-11. Соч. в 2-х т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989. С/ 259-396, 411-637.
17. Бердяев Н.А. Ук.соч. С. 100.
18. Данилевский Н.Я. Ук.соч. С. 99.
19. Там же. С. 115.
20. Там же. С. 70, 118.
21. Там же. С. 119.
22. Там же. С. 128-129.
23. Там же. С. 135.
24. Там же. С. 288.
25. Фудель И. Культурный идеал К.Н.Леонтьева // Русское Обозрение. 1895. № 1. С. 259.
26. См.: Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб, 1991; Сивак А.Ф. Константин Леонтьев. Л., 1991.
27. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. В 2 т. Т. 1. М., 1885. С. 101.
28. Леонтьев К.Н. Наши новые христиане. Ф.М.Достоевский и гр. Лев Толстой // Собр. соч. В 9 т. Т. 8. М., 1912. С. 191-192.
29. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. Т. 2. С. 393.

Перед нами — уединенный горный пейзаж. Лишенный тяжеловесности он освобожден от человеческого измерения и, переливается в бесконечность. Его туманы, громадные черные тени, являющиеся взгляду фантастические, иногда трагические видения, возникают из ощущений, приводящих художника в особое состояние.

Это состояние мастера как бы созвучно открывающейся панораме дорог, виадуков, туннелей, пронзающих и наступающих на гранитные массы... Огромные вертикальные башни, громоздящиеся «небоскребы» резко разрывают пространство и подчеркивают его динамику... Здесь находится неиссякаемый источник возбуждения и вдохновения для глаз и души. Эти полные силы линии привлекли меня, появилось желание выразить их энергию с помощью резца.

Это орудие такое чуткое, острое, сверкающее, неумолимое четкостью наносимых им линий. Оно создает изображение пейзажа и неба длинными белыми штрихами, дающими эффект текучести.

Очарованные этой переменой, мы, в то же время, чувствуем боль, как от полученной раны. В ощущениях появляется некоторая двойственность. Она усиливается, когда над блестящей цельной поверхностью медной доски заносится резец и нарушает цельность глубокой бороздой. Из массы разных по направлению и толщине линий неожиданно возникает изображение.

Эти первые впечатления дают возможность сознанию начать построение собственной композиции. Мысленный образ, еле уловимый и, одновременно, навязчивый, активный и мимолетный, неожиданно заволакивается дымкой и исчезает, если сознание не успевает его зафиксировать, наделив структурой: это могут быть разной силы линии, плоскость, центральная точка, на которых задержится взгляд и начнет разглядывание.

Постепенно возникает пространственная конструкция, выбранная художником для изображения — прямоугольник, медная доска.

Легкие линии, в пунктирной манере с перекрестной штриховкой, выгравированы при помощи резца или стамески, а также сухой иглой, применение которой дает изображению «бархатистость» и насыщенность. Черные и серые тона в этой линейной конструкции создаются при помощи качалки (стальной овальной пластинки, посредством которой поверхность доски покрывается многочисленными мелкими царапинами и точками, при набивке краски последняя задерживается в углублениях, что дает глубоко черные тона). Все эти приемы использованы для достижения большей живописности.

После того, как определены основные направления, пропорции и границы полей, первый же оттиск дает эскиз будущего изображения, в его истинном смысле (т.к. рисунок на доске оказывается перевернутым), с его нюансами, мощью его линий и, в особенности, его пространством, созданным столь различными элементами.

Только тогда начинается длинный путь, отмеченный десятками оттисков, извлекающих из этого черного и белого свет, ритм, план, которые заставляют забыть, что перед нами всего лишь прямоугольник из металла.

Таково увлекательное путешествие, во время которого, с каждым новым движением руки гравера, рождается неповторимый образ. Поверхность медной доски покрывают краской, потом осторожно ее стирают. По мере стирания проступают едва заметные штрихи, линии. Таким образом возникают удивительные произвольные изображения, создавая новые пространства, которым красноватый медный отблеск, его бархатистость сообщают нереальную мягкость. Необходимо сразу же зафиксировать эти случайные видения «монотипами», которые впоследствии будут способствовать обогащению воображения.

Лишь позднее, после долгого прорезания, скабливания, процарапывания, отпечатывания медной доски, образ высвобождается и возвращает нас к первому впечатлению.

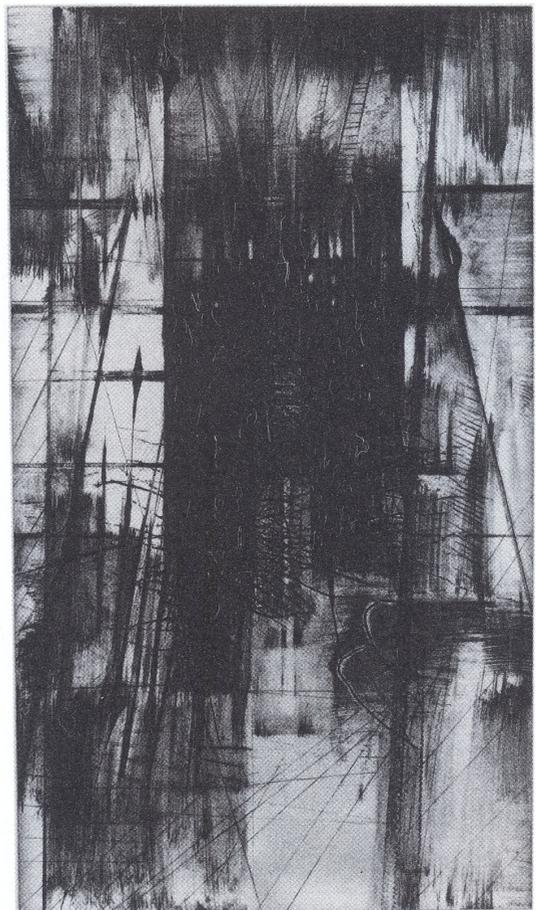
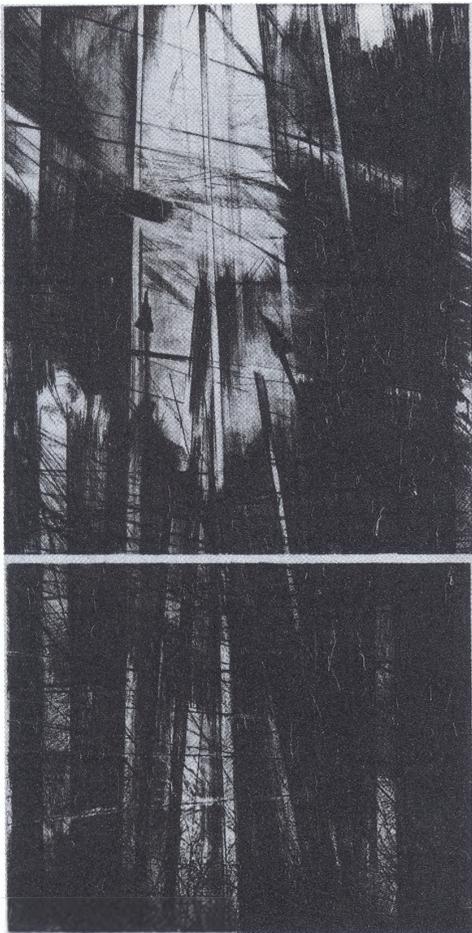
Созданные таким способом гравюры — результат долгой и кропотливой работы, без применения кислот, с помощью резца.

Перед художником стояла задача — превзойти самого себя в экспрессии, а не совершенствоваться в технике.

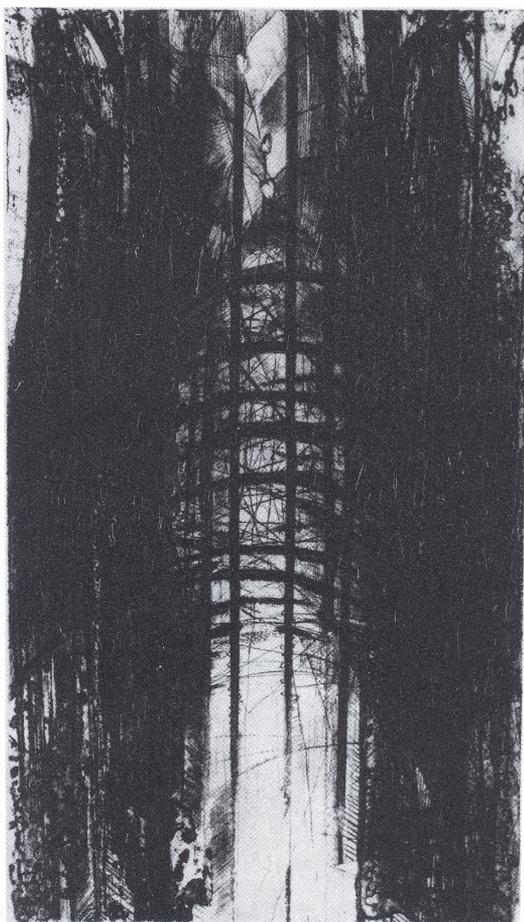
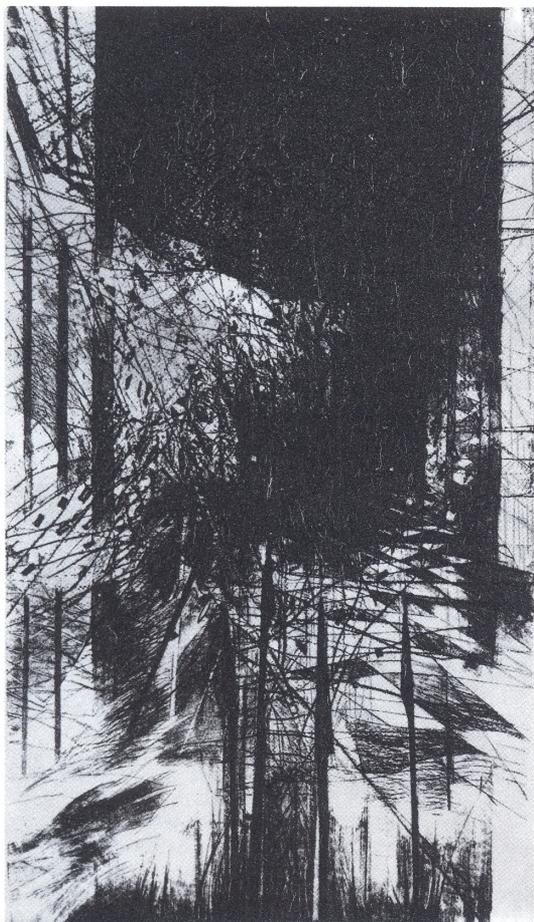
А может это — вызов нашей эпохе, в которой нет места тишине и сосредоточению. Одиноким, монашеский демарш гравера вырывается из времени, событийности, из анекдота. С его помощью можно лучше прочувствовать пространство между существами, вещами и привычками. Он возвращает пустоте ее истинный смысл и дает возможность заглянуть в бесконечность.

Перевела с французского Румия Вильдановоа

Carcération I. Заключение I. 52 X 30. 1988.  
Carcération II. Заключение II. 52 X 30. 1988.



Carcération IV. Заключение IV. 52 X 30. 1989.  
Carcération VI. Заключение VI. 52 X 30 1990.



# МОД ГРЕДЕР

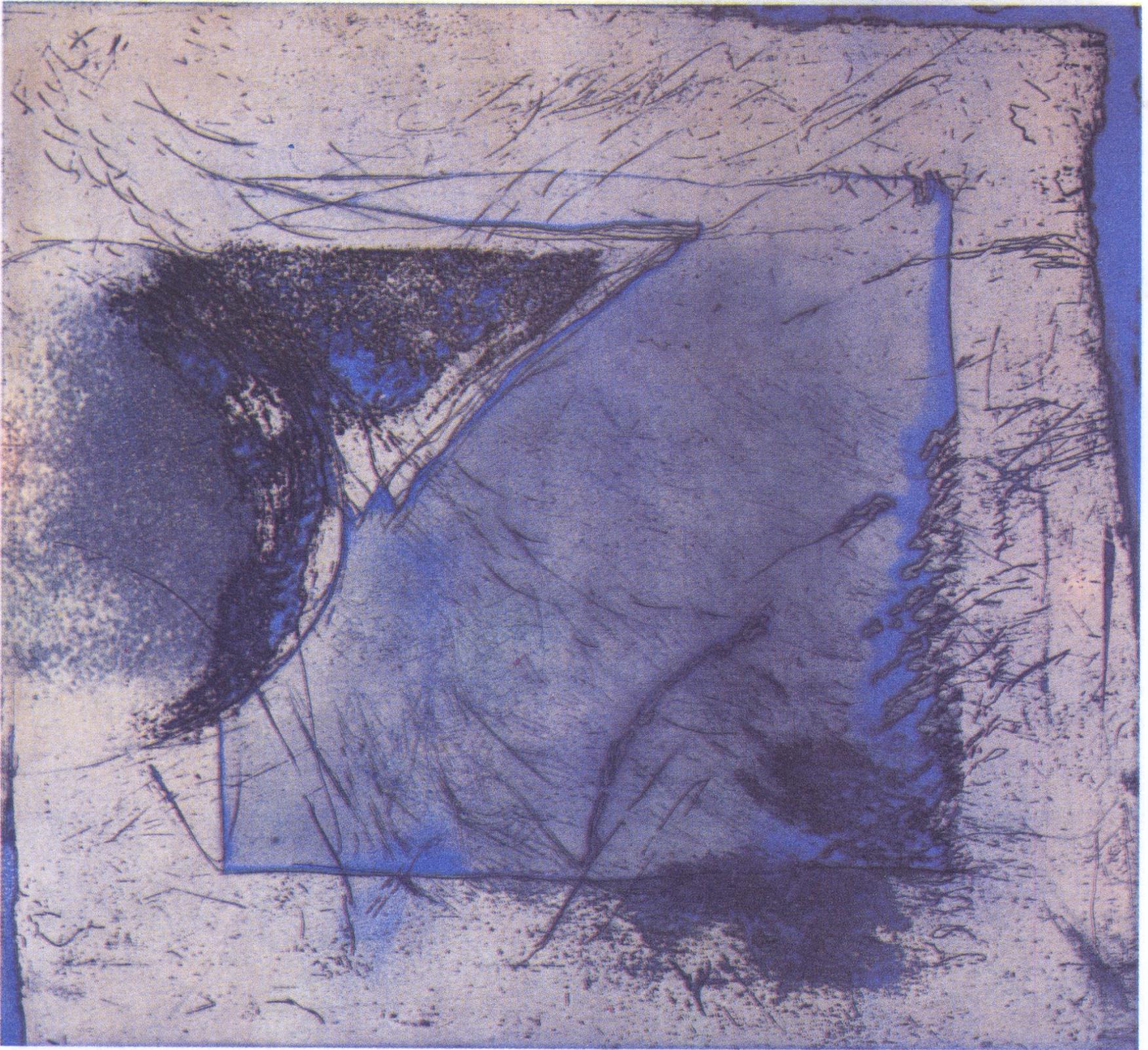
Aucune absence,  
Aucune distance,  
L'ombre,  
une pensée  
se balance  
entre deux existences.

A.Czajkowski

Нет пустоты,  
Нет расстояния,  
Тень,  
И неясная мысль,  
Балансирующая между  
Двух существований.

А.Кзайковский.

Nuit. Ночь. 56,5 x 56,5 - 1991.



Les couleurs que l'on noue, découvrent tous nos silences obscurs.

A. Czajkowski

Переплетение оттенков обнажает тайны нашего безмолвия.

А. Кзайковский.

L'aile d'ombre. Крыло темноты. 56,5 x 56,5. 1991.



## НОВОЕ О ШОСТАКОВИЧЕ. «В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ»

БОРИС ЛОССКИЙ

Заимствую это заглавие у музыкальной сатиры, сочиненной «для отвода души» травимым властью композитором на ждановские «художественные» императивы, — пьесы, о существовании которой известила читателя интереснейшая статья Андрея Лишке<sup>1</sup>. Делаю это в качестве товарища Шостаковича по трем учебным заведениям: петроградским гимназиям М.А.Шидловской (1915-19) и М.Н.Стоюниной (1919-21), а также по Музыкальным курсам И.А.Гляссера (1917-18) — товарища того, кто для меня навсегда остался «Митей» (я на год старше его). И я могу сказать несколько новых слов в память о наших отроческих годах. Сообщу здесь главное из того, о чем пишу со многими подробностями лицу, живущему в среде советских музыковедов, в форме примечаний и дополнений к соответствующим главам книги С.Хентовой «Молодые годы Шостаковича» (М., 1975, 1980). Пользуясь этой книгой как исходным пунктом, не оставляю без внимания и хорошо известные на Западе «антимемуары» Соломона Волкова, чтобы дать и свои «свидетельские» показания.

Биографию Шостаковича (1906-1970) принято, совершенно уместно, начинать с сообщения о судьбе его деда-поляка, сосланного царским правительством в Сибирь, где родился его отец Дмитрий Болеславович. Также упоминается и о том, что сестра его матери Софьи Васильевны (урожд. Кокоулиной) пострадала за народническую деятельность. Но правильно ли утверждение некоторых историков о «революционной» ориентации родителей Мити? По сохранившемуся в моей памяти определенному впечатлению, гораздо правильнее было бы говорить об их либерально-демократических взглядах, характеризовавших добрую половину (если не большую) буржуазной интеллигенции начала века, симпатизировавшей рабоче-крестьянскому классу, но ни в какие общения с ним не входившей. Конечно, чудовищные события 9 января 1905 года должны были взволновать Шостаковичей, как и нашу семью и всю либеральную интеллигенцию, но должно ли верить утверждениям, что разговоры о случившемся более полутора лет до рождения Мити велись его родителями еще в пору его отрочества, то есть около 1915 года, когда Первая мировая война насыщала полностью «злобу дня»?

Соприкосновение нашей семьи с семьей Шостаковичей наметилось с 1911 года, когда в средний подготовительный класс (для восьмилетних детей) гимназии моей бабушки Стоюниной, где учился мой старший брат Владимир, поступила старшая сестра Мити, Мария, для нас «Муся». Добрые же отношения между нашими родителями установились к началу революции. С тех пор мне запомнилась располагающая к себе довольно полная фигура среднего

роста добродушного и веселого инженера Дмитрия Болеславовича, как и представительная наружность и притязающие на светскость манеры «умевшей и любившей нравиться» (по выражению С.Хентовой) Софьи Васильевны.

Гимназия М.А.Шидловской на Шпалерной (ныне ул. Воинова), 7, с которой началось в 1915 году митино и мое среднее образование, была частной школой, куда отдавали своих детей обоего пола семьи зажиточной, в значительной мере либеральной интеллигенции, манкировавшей «казенщину», выражавшуюся в «формах установленного образца», предпочитая ей введенные начальницей матросские фуфайки с синими и белыми полосками и фартуки песочного цвета. Хотя Митя, по своим годам, и учился классом младше моего, вспоминаю имена некоторых его одноклассников, из которых небезынтересно будет назвать Жоржа Познера, в настоящее время известного парижского академика-египтолога, и (в более сенсационном порядке) кузенов Шуру Розенфельда и Бронштейна, иначе говоря, сыновей Каменева и Троцкого. К чему спешу прибавить, что весною 1918 года, то есть в пору могущества этих трибунов, Митя говорил нам, по крайней мере, о Бронштейне, с неприязнью. Чтобы дополнить картину, сообщу, что классом младше его учился сын Керенского, старший брат которого, Олег, царил над мальчиками двумя классами выше. В их числе был старший Познер, Вова, в настоящее время известный французский литератор крайне левого толка, уже тогда выразивший свою революционную настроенность воодушевленной игрой на рояле «Марсельезы», в годы войны не преследуемой как национальный гимн союзницы — Франции. Также Кирилл Кустодиев, в то время злорадный хулиган, старший брат моей одноклассницы Ирины, по инициативе которой завязалась в 1918 году дружба одиннадцатилетнего Мити с ее прикованным параличом к креслу отцом-художником.

Также в 1915 году Митя начал свою учебу на фортепьянных курсах И.А.Гляссера, на Владимирском проспекте, 8. Об уходе же с них всех его биографов, включая и С.Хентову, сбивают с толку показания его первой, написанной еще в 1927 году, автобиографии (журн. «Советская музыка», 1966, № 9), где он совершенно необъяснимым образом сообщает: «В феврале 1917 мне стало скучно заниматься у Гляссера. Тогда мать решила меня и старшую сестру показать профессору Ленинградской консерватории А.А.Розановой, у которой сама когда-то училась... 1917-1919 годы я учился у Розановой». На эти слова не могу не возразить со всей уверенностью, что Митя еще учился на курсах Гляссера осенью 1917 года, когда, очевидно, по совету его матери, мои родители отдали туда и меня. Также, что Митя играл 5-сонату Бетховена на отчетном концерте, точную дату которого, 26 апреля 1918 г., дает, противореча себе, та же С.Хентова и что его с сестрою (как и меня) можно видеть на групповой фотографии класса Игнатия Альбертовича, снятой месяцем позже. Помню, наконец, что в ноябре мы оба слушали даваемый нашим учителем урок тео-

рии музыки и что только к самому концу 1918 года Митя и Муся покинули школу Гляссера.

Одной из причин этого исхода было, как обычно и говорится, скептическое отношение Игнатия Альбертовича к митиной композиторской пробе пера. Помню, что так же отрицательно относился он и к подобным попыткам у других учеников, и предполагаю, что психологической подоплекой этому был комплекс, порожденный воспоминанием о неудаче своих собственных опытов на этом поприще в пору молодости, накануне первых триумфов его польского сородича и друга Падеревского.

Доведя мой очерк до 1917-18 годов, обращусь к тому, что думаю о влиянии событий революции на душевный строй и раннее творчество Шостаковича.

О влиянии событий первых лет революции на жизнь и творчество Шостаковича писать будет трудно даже его биографам эпохи прогрессирующей «перестройки», до которых дойдет «Свидетельское показание» (не могу перевести иначе «Temoignage» — французское заглавие) — книга Соломона Волкова, задавшегося целью показать подлинное лицо композитора, долго бывшее скрытым за сфабрикованной сталинскими писателями маской, которую волей-неволей ему пришлось носить до конца своих дней. Полагаю даже, что рассказанное им в 60-х годах на шестом десятке жизни двадцатилетнему автору «антимемуаров», уложилось в его собственной памяти не без привившихся к ней деформаций.

## Полемическая фактология

Начну с двух эпизодов, ставших неотъемлемым достоянием всех биографий Шостаковича. Где только не говорится о его прогулке по Невскому в самые первые дни февральских событий 1917 года, когда полиция пыталась разгонять рабочие демонстрации, и о зарубленном на его глазах саблей мальчишке? Замечу на это, во-первых, что в ту пору Мите было только десять, а мне одиннадцать лет, и что на улице мои родители, как наверно, и его, нас без сопровождения домочадцев не пускали, не говоря уже об этих днях, когда из-за уличной стрельбы прервались школьные занятия. Что же до сообщения о гибели мальчишка, о которой Митя (со слов С.Волкова) «побежал рассказать дома», я себя спрашиваю, не шло ли в действительности дело о его старшей сестре Мусе, учившейся в гимназии моей бабушки Стоюниной на Кабинетской, где перед расходившимися после классов ученицами полицейский рубанул шашкой малолетнего участника манифестации, вышедшей на улицу из соседней табачной фабрики Богданова.

С еще большим скептицизмом отнесусь ко второму эпизоду, преподносимому как одна из важных составляющих сил становления революционной идеологии Шостаковича: его присутствие на знаменитой речи, которую Ленин произнес с броневика, прибыв на Финляндский вокзал 3/16 апреля. По-видимому, не решаясь отрицать подлинность этого эпизода в преимущественно открытом разговоре с доверенным собеседником, он признается ему, что

несмотря на общепринятое мнение о значительности этого «события его жизни», в его памяти оно никак не сохранилось. Из чего я позволю себе заключить, что если в повествовании о первом из двух приведенных эпизодов есть большая доля стилизации, то второй является просто плодом чистой импровизации «ангелов-хранителей» для нуждавшегося в «свидетельстве о благонадежности» композитора.

По этому поводу могу сообщить, обращаясь на сей раз полностью к своей памяти, к одному эпизоду, связанному с «Траурным маршем в память жертв революции», цитируемым как одно из первых произведений Шостаковича. Мне довелось его слышать в январе 1918 года. Тогда русская общественность еще не была задушена чека, и пулеметная расправа с демонстрацией протеста против разгона Учредительного Собрания, и зверское убийство Кокошеина и Шингарева были отмечены в гимназии моей бабушки собранием педагогов и учеников, с панихидой и речами. На этот печальный праздник пятиклассница Муся Шостакович привела своего брата Митю, который и исполнил на нем недавно сочиненный, по всей вероятности, в непосредственной связи с кровавыми событиями последних дней «Траурный марш в память жертв революции».

Не знаю, как творческий путь Шостаковича ввел его, в конце 20-х годов, в зону «приветов Октябрю», должно быть, служивших ему своего рода «путевкой в жизнь». Но, во всяком случае, могу со всей уверенностью утверждать, что до конца 1922 года Митя, как и большинство детей тогдашней интеллигенции, не проявлял никакой симпатии к правительственной идеологии, что явствовало из его окрашенным юмором разговоров, в которых сказывался будущий друг Зоценко.

Остается внести существенные коррективы в донельзя запутанные сведения, которые биографы Шостаковича дают, сами себе противореча, о его учении в средних школах. Как уже было сказано выше, первой из них была гимназия М.А.Шидловской, куда и он, и я поступили осенью 1915 года и учились вместе, хоть он и классом ниже, до весны 1917-го, после чего он провел там еще два учебных года. Осенью 1919 года мы очутились снова вместе в ставшей 10-й советской школой гимназии моей бабушки М.Н.Стоюниной на Кабинетской, 20, где его старшая сестра Муся училась уже с 1911-го, а младшая — Зоя — с 1916 или 1917 года. Однако о его присутствии в школьных стенах мне помнится очень мало. Недаром с той же осени 1919 г. начались его консерваторские занятия фортепьянной игрой, теорией музыки и композицией, поглощавшие немало времени. Дело дошло до того, что, по данным, использованным С.Хентовой, директор школы Б.П.Афанасьев вызвал отца Мити, Дмитрия Болеславовича, и заявил ему, что дальнейшее совместительство невозможно, после чего Мите пришлось закончить свое образование в проблематичной «108-й школе на Кузнечном переулке». Последнее приводит меня в полное недоумение, потому что мне определено помнится совсем другое.

Вопрос о невозможности продолжения учения сразу в двух школах был действительно поставлен к концу зимы или началу весны 1921 года и, наверно, не без участливой инициативы бабушки, всегда чуткой к дарованиям учеников, было решено подвергнуть четырнадцатилетнего Митю своего рода «до-срочно-выпускным» экзаменам — скорее чисто условным, чем действительным, — чтобы у него было хоть какое-нибудь удостоверение о пребывании в средней школе. Но увя, даже на подготовку к этим «полюбовным» (по крайней мере, со стороны преподавателей гуманитарных предметов) испытаниям времени у Мити не оказалось и из-за категорического протеста старого учителя математики никакого свидетельства ему выдано не было. А о поступлении при таких обстоятельствах в другое учебное заведение для окончания среднего образования, конечно, не могло быть и речи. Потому утверждаю, что с весны 1921 года Митя смог предаться полностью, без досадных мыслей о школьной учебе, завершению своего уже так далеко продвинутого к этому времени музыкального воспитания.

После всей этой полемической фактологии «в помощь изучающим» рад буду перейти к более прочувствованным воспоминаниям о нашем пятилетнем дружеском общении с Митей Шостаковичем.

### «Мальчик, похожий на воробушка»

«Щуплый, остролицый мальчик, похожий на затаившегося воробушка». Именно таким, как его рисует читателям С.Хентова, биограф молодых лет Шостаковича, запал в мою память образ девятилетнего Мити, вошедшего в мое поле зрения в начале 1918 года, в рекреационном зале гимназии Шидловской, куда сошлись на перемену мой первый и его притовительный классы. Он сидел на подоконнике, кажется, держась за ручку рамы, и смотрел как будто безучастно через уже составлявшие неотъемлемую часть его лица очки на резвящихся товарищей и товарок. Как мне думается теперь, его внимание могло быть направлено интроспективно на «внутренний слух», недавно перед тем плененный звуками «Царя Салтана» Римского-Корсакова. Но тогда он мне показался не находящим своего места среди других детей, и у меня даже родилось желание, не перешедшее в действие, как-то и чем-то ему помочь.

Вскоре после я его не без удивления увидел на спектакле в зале гимназии Стоюниной, где по тогдашнему обычаю каждый класс давал раз в год свою вечеринку. Тогда это был третий класс, в котором учился Муся Шостакович, и не помню, что помогло мне прийти к заключению, что интересовавший меня мальчик приходился ей младшим братом. В этом же зале, два года спустя, как об этом было сказано выше, после панихиды и речей по случаю кровавых событий при разгоне Учредительного Собрания тот же брат Муси исполнил сочиненный им «Траурный марш в память жертв революции», среди которых, по крайней мере, в данном случае, главное место

принадлежало Кокошкину и Шингареву. В это время он стал для меня уже Митей, потому что мы познакомились осенью 1917 г., когда мои родители, наверно, по совету его матери, отдали меня на фортепьянные курсы Гляссера, где он учился уже два года.

К тому, же я уже сообщал о пребывании Мити в этой музыкальной школе, прибавлю, что фрагменты пятой сонаты Бетховена, которую он исполнил на зачетном концерте в апреле 1918 года, звучат в моей памяти так, как их ей дала его вдумчивая, спокойная интерпретация. Тоже вспоминаю о нашем с ним присутствии, осенью того же года, на концерте Государственной Филармонии в зале бывшего Дворянского Собрания на Михайловской площади, направо за колоннами, на бархатной скамье, предоставленной Гляссеру с группой его учеников. Шли восьмая и десятая симфонии Бетховена под вдохновенным управлением Сергея Кусевицкого, точно плававшего в звуках наэлектризованного его дирижерской палочкой оркестра. Митя и его сверстник Леня Дидерихс сидели по обе стороны учителя и жадно следили за развернутой на его коленях партитурой. Они же, подойдя в перерыве к эстраде, разглядывали внимательно музыкальные инструменты, обмениваясь догадками об их назначениях. Думаю, с сожалением к Игнатию Альбертовичу, что к тому времени, наверно, уже созрел у Муси и Мити план перебега из его школы к бывшей в свое время учительницей их матери профессору консерватории А.Розановой. Случился он, как и было мною сказано, в самом конце того же года, а главной причиной этому шагу, по крайней мере, по доводам, приводимым Софией Васильевной, был гневливый (мне достаточно известный) характер нетерпеливо требовательного к своим ученикам Гляссера, с уроков которого, по ее словам, ее дети приходили домой чуть ли не в слезах. Под тем же предлогом последовали их примеру, к неменьшему огорчению Игнатия Альбертовича, и сестры Граменицкие, старшая из которых, Марианна, была его лучшей ученицей.

Не буду реагировать — ни положительно, ни отрицательно — на уверения биографов Шостаковича о его всестороннем даровании, распространявшимся на все науки, не зная ничего определенного о его сошедших на нет гимназических занятиях. Зато присоединяюсь к ним полностью, даже «с лихвой», в признании за Митей необычайно живого ума и столь сильно сказавшихся на его музыкальном творчестве знания, любви и тонкой чуткости в области поэзии, прозы, русского языка, словообразования и юмора, качеств хорошо объясняющих его притяжение к Лескову и дружбу с Зоценко.

По этому поводу вспомню, как мы с ним раз поселились, устанавливая воображаемую династию, элементами которой были смехотворные мужские имена и имена-отчества, заимствованные из «Шинели» Гоголя и забыл из каких повестей Тургенева или комедий Островского: Акакий, Мокий, Соссий, Хоздозат, Гулий Ивлич, Сыйсо Псоич, Пстой Стахич и т.д. Также вспоминаю, как, встретившись случайно в начале 1921 года с Митей перед его до-

мом на Николаевской, 9, я поднялся по его приглашению в их квартиру, где никого не было, и провел с ним, до прихода Софьи Васильевны, очень приятный час. Сначала ему захотелось поделиться со мною содержанием явно его впечатлившего, мне неизвестного рассказа Куприна, где дело шло о японском шпионе, выдававшем себя с большим успехом за русского, несмотря на свою дальневосточную наружность, относительно которой отшучивался, говоря: «Рожа овечья, душа человечья». Потом, наверно, побуждаемый более постоянным увлечением, сев за рояль и аккомпанирую себе, он спел мне, несколько крикливо, но безупречно верно, арию Хиври из «Сорочинской ярмарки» Гоголя—Мусоргского, весело акцентируя припев «Черт тебя Брудыус!» Все это, конечно, являло диаметрально противоположность его выступлению, той же зимой на музыкальном сеансе в бабушкиной гимназии, со скорее прониновенной, чем страстной интерпретацией бетховенской «Аппассионаты».

Случалось, конечно, слышать Митю и как исполнителя собственных произведений, как это уже было в январе 1918 года, когда он играл после убийства Кокошкина и Шингарева свой «Траурный марш». Помню, как три года спустя в гостях у нас он исполнял свою сюиту не то прелюдий, не то вариаций. После каждой из них бабушка, воспитанная на Глинке и воспринимавшая даже Чайковского как небезупречного модерниста, говорила, скорее благожелательно, чем убежденно: «Интересно...» Более доступным всеобщему пониманию оказывалось до сих пор ласкающее мой слух грациозно-лирическое «Скерцо».

В связи с тем, что говорится об отдаленности Шостаковича от всякой мистики и религии, мне вспоминаются его вольнодумные высказывания вроде лукавого вопроса, среди каких людей мог блуждать по свету Каин, первородный сын прародителей Адама и Евы? О его же родителях, во всяком случае о матери, могу сказать, что либеральная традиция семьи была достаточно консервативна, чтобы не отчуждаться от церковных обычаев бытового порядка. Сужу об этом, вспоминая о смерти Дмитрия Болеславовича в феврале 1922 года. Обряды его отпевания и погребения, на которых мы с братом присутствовали, совершились полностью, можно даже сказать, «на широкую ногу». Обе панихиды, которые служили на дому священник Ветроградский (должно быть, знакомый семьи, отец одной из учениц Глясера) сопровождалась пением трех или четырех монашек Новодевичьего монастыря. Проявлявшая большую выдержку Софья Васильевна, ответившая на чьи-то докучные соболезнования: «Я сейчас как каменная», — простояла на коленях больше, чем того требовала служба. Уходя, мне случилось слышать обрывок ее сговора с батюшкой относительно отпевания тела покойного в церкви перед погребением и его слова: «Можно и одну панихиду, только сиротливо для души-то будет». Слова, произнесенные по видимому не вотще, потому что на следующий день,

после того как хор из пяти-шести монахов встретил пением подходившую к воротам Александроневской Лавры похоронную процессию, в одной из угловых барочных церквей была отслужена полностью заупокойная обедня. Помню припавших к лицу и рукам отца детей перед моментом закрытия гроба. Помню и погребение Дмитрия Болеславовича, кажется, на Лазаревском кладбище (превращенном после в «некрополь XVIII века») и речь о «редеющих рядах нашей интеллигенции» с другими перлами общественной риторики, произнесенную с лучшими намерениями одной предававшейся литературе дамой.

В заключение вспомню о последней встрече с Шостаковичами, которые пригласили нас с братом на званый вечер незадолго до нашего изгнания из СССР в середине ноября того же года. За недостатком места гости были размещены в двух комнатах: «взрослые» в столовой под почетным председательством монументального Глазунова перед графинчиком водки, а молодежь в гостиной, тоже с правом на российский нектар, недавно вернувшийся, в эту пору нэпа, в праздничный обиход. Новичков в его употреблении, какими были Митя и я, можно было уподобить легендарному чижику, про которого поется: «выпил рюмку, выпил две — зашумело в голове». Потому помню с несколько меньшей отчетливостью, как в согревшейся атмосфере Митя убеждал присутствующих, не теряя своей привязанности к феноменам русской речи, что он оставался «тверез». Что не помешало нашему оживлению дойти до того, что нам захотелось вступить в какое-то стилизованное единоборство. Пройдя трижды друг мимо друга в нарочитых позах персонажей не то с египетского, не то с ассирийского барельефа, мы вцепились друг в друга, скоро повалились на пол и покатались по ковру под рояль. Тут я увидел, что на митином лице не осталось ни кровинки, и скоро стало ясно, что он потерял сознание. Пришла на помощь озабоченная Софья Васильевна и в ответ на мои, должно быть, бессвязные объяснения и уверения, что все обстоит хорошо, окатила меня не свойственным ее обычной приветливости взглядом, после чего мы с братом благоразумно покинули собрание. Так прекратилось навсегда мое дружеское общение с Митей Шостаковичем, после чего он пожал удел бессмертия.

1. «Русская мысль» 1989 № 3766.

Первое издание предлагаемых читателю воспоминаний

Бориса Лосского: «Русская мысль» 1989 №№ 3770-1.

Впервые Розанов посетил С.-Петербург в 1889 г., чтобы лично познакомиться с философом Н.Н.Страховым. Встреча произошла на квартире философа в доме Стерлигова в Торговой улице, близ Торгового моста (ныне дом № 2 по улице Союза Печатников).

Вторично прибыл в столицу Российской империи ранней весной 1893 г. по вызову Государственного Контролера Т.И.Филиппова, считавшего себя знатоком отечественного фольклора и выступавшего в роли покровителя славянофилов. Розанова зачислили в штат чиновником особых поручений и приписали департаменту железно-дорожной отчетности. Государственный Контроль размещался в нескольких домах в центре города на набережной реки Мойки: департамент — в доме № 78, канцелярия — в соседнем доме № 76. Много позже он с отчаянием вспоминал о «враждебном толстом здании с металлической на фронте вывеской» и с гневом — о «проклятом Контроле».

Василий Васильевич с Варварой Дмитриевной, Бутягиной Александрой Михайловной — ее дочерью от первого брака и крошкой — дочуркой Надей поселились в небольшом доме Ефимова № 26/2, занимавшем угол Большого проспекта Петербургской стороны и Павловской (Мончегорской) улицы. Жили вначале в маленькой квартире № 1, затем переехали в другую — побольше № 24. Соседом по дому оказался И.Ф.Романов — публицист, писавший под псевдонимами «Рцы», «Гатчинский отшельник», «Заточников». Он был сослуживцем Розанова по Контролю и сразу же стал одним из преданнейших и ближайших его друзей.

Розанов вошел в тесный кружок единомышленников Страхова, в который входили помимо Романова еще Ф.Э.Шперк («Ор», «Апокриф»), Ю.Н.Говоруха-Отрок («Ю.Николаев», «Юрко», «Ю.Елагин»), Б.В.Никольский, С.Ф.Шарапов. Представителей страховского кружка отличала от других философов и мыслителей С.-Петербурга крайняя степень идеализма. Можно сказать, кастовая замкнутость и тот особый стиль мышления, который уместнее всего назвать мистическим.

Собирались чаще всего «на чаек» в небольшой холостяцкой квартире философа, продолжавшего жить в доме у Торгового моста. 24 января 1896 г. Страхов умер и его кружок распался. Но не погиб окончательно. Малым его осколком явился кружок, который стал собираться у Розанова. Более узкий, более интимный. Из членов этого кружка следует выделить Романова и Шперка.

Последний вызывал у Розанова не только обостренный интерес как оригинальный и тонкий мыслитель, но и как страстно разделявший его волнения и симпатии человек. Он умер в 1897 г., едва достигнув 26-летнего возраста. Успел издать несколько брошюр. Розанов часто навещал Шперка, который нанимал квартиры в доме № 4 по Гусеву (Ульяны Громовой) переулку и в доме № 2 по улице Большой Белозерской (Воскова).

Дом № 2 стоял против церкви Введения во храм Пресвятыя Богородицы, в двух шагах от квартиры Розановых. Сейчас на месте снесенной в годы оголтелого атеизма церкви разбит скверик (угол трех улиц — Большой Пушкарской, Воскова и Олега Кошевого — бывшей Введенской). Выглядела церковь в те годы импозантно и скромно. Василий Васильевич и Варвара Дмитриевна любили посещать ее. В ней они крестили своих детей — в 1895 г. дочь Татьяну (крестным отцом был Страхов), в 1898 г. — дочь Варвару, в 1899 г. — сына Василия.

Еще в 1893 г. Розанов познакомился с литератором, драматургом, публицистом, магнатом газетно-издательского дела А.С.Сувориным, который привлек его к работе в своей газете «Новое Время» (печататься начал в 1894 г., сотрудничать — с мая 1899 г.). Розанов прочно связал свою литературную судьбу с «ежедневной бесцензурной газетой» стал одним из ведущих ее сотрудников и печатался в ней еще в тревожном 1917 г. В издательстве «Новое Время» выходили его книги. Адрес Суворина был известен — дом № 6 по Эргелеву переулку (улица Чехова). Рядом, в доме № 13 находилась его типография.

В один из своих очередных наездов 1895 г. из Царского Села (город Пушкин) в столицу популярный философ В.С.Соловьев встретился с Розановым. Встреча произошла в номерах английской гостиницы (корпус «Б» гостиницы «Астория») и, надо отметить, что их знакомство не переросло в более тесные отношения. Мы полагаем, что виною тому послужили их яростные темпераменты и, конечно же, их принципиально противоположные подходы к религии. Позже Розанов сожалел, что поддался эмоциям и не сумел наладить диалог с ослепительно-ярким и чересчур избалованным вниманием публики философом.

Следует сказать, что Розанов умел сходиться с людьми и налаживать необходимые контакты. И превращать многих из них в своих друзей. Так, в его дружеский круг попал Я.Н.Колубовский — упорный труженик, библиограф по русской философии. Адрес, по которому он проживал — улица Сергиевская (Чайковского), дом № 16, был отлично известен Розанову. Попал в круг его друзей и П.П.Перцов — литератор, богач, меценат. Изданные им в 1899 г. три книги (точнее, сборника статей) Розанова: «Литературные очерки», «Сумерки просвещения», «Ре-

лигия и культура» — факт отрадный и так много значивший для автора. Адрес Перцова, всегда остававшийся в меблированных комнатах «Пале Рояль» (Пушкинская улица, дом № 20) для Розанова был одним из заветных адресов города.

Книга «Легенда о Великом инквизиторе», перевод (выполнен совместно с П.Д.Первовым) «Метафизики» Аристотеля, наконец, три книги, изданные Перцовым, укрепили положение Розанова как литератора. Усилили в нем желание уйти из Контроля. В 1899 г. умер Филиппов и коллежский советник Розанов счел взятое им на себя моральное обязательство перед Филипповым потерявшим силу. Короче говоря, он подал в отставку.

И стал литератором, при могучей материальной поддержке Суворина, о котором Василий Васильевич всегда отзывался с нежностью. К этому времени он сменил свой адрес: улица Шпалерная, дом № 39, кв. 4. Великолепная, удобная квартира в центре С.-Петербурга решила многие и прежде всего литературные мечтания Розанова, превратив его из «провинциала» в «светского человека». Жесткий режим дня, визиты к знакомым. Многошумные, многолюдные, затягивающиеся далеко за полночь, «среды» В.И.Иванова, жившего поблизости от Розанова в доме № 35 по Таврической улице. Знаменитая, воспетая «башня» поэта и мечтателя! Другой адрес. Неподалеку от квартиры Розанова — легендарный «дом Мурузи» (Литейный проспект, дом № 24), в котором обреталась чета Мережковских (тяжеловесный писатель и драматург Дмитрий Сергеевич, его жена — раскованная поэтесса Зинаида Николаевна), третьим был друг семьи — критик Д.В.Философов.

От Мережковских ушли частенько гурьбой, ватагой, «по-шестовски» к Розанову на «воскресения». Здесь, на Шпалерной, на 4-м этаже перебивала масса лиц, среди которых часто появлялись новые. На портрете художника Л.С.Розенеберга (Бакста), исполненного в 1902 г., можно заметить фрагмент кабинета Василия Васильевича, увидеть уголок его библиотеки. Художнику удалось передать характерную позу Розанова, его манеру слушать и его мысль, готовую сорваться с языка.

С 1901 г. начали функционировать религиозно-философские собрания, происходившие в помещении Географического общества в доме № 2 на площади Чернышева (Ломоносова). Тон собраниям, естественно, задавал Мережковский, резко выделявшийся из группы основателей (Розанов был среди них). Собрания были запрещены после выступления Василия Васильевича против церковных догматов. Он продолжал развивать (помимо других тем) тему религии в журнале «Новый Путь», редактором-издателем которого был Перцов. Розанов навещался в контору и редакцию журнала (в дом № 88 по Невскому проспекту, затем № 10 по Саперно-

му переулку). В особенности ему нравилось бывать по второму адресу — в том же доме в двух комнатах ютился А.М.Ремизов с супругой.

Их тихий, уютный мирок привлекал Розанова: он охотно и долго вел с Ремизовым — тончайшим стилизатором и изографом — неторопливые и романтические беседы. Скорее, собеседования. Иначе происходил разговор, когда в обитель вторгался шумный сосед по дому Г.И.Чулков. И совсем становилось невыносимо, когда приходил другой сосед — Н.А.Бердяев, кипевший словом. Но такое приходилось наблюдать Розанову только в домах или в гостиницах. Вне их он замечал более резкие жесты, слышал более острые словечки.

Два примера. В ноябрьском письме 1905 г. к Максиму Горькому он воспроизвел конфликт в редакции газеты «Новое время», когда рабочие-наборщики потребовали от «маститых» более четкого и объективного описания январских событий в столице. Розанов подчеркнул неблагоприятное поведение коллег — М.О.Меньшикова, А.А.Столыпина и др. В том же письме он заметил, что прошлые революции в основном были движениями городскими, а нынешняя революция сумела захватить всю империю. Он посещал митинги, отмечая их накал и высокую их степень напряженности, замечая в толпе «много влюбленных» и желая пробуждения «мечты», которая должна опережать события.

Надо сказать, что события январские, октябрьские, декабрьские (в Москве) почти не задели его как гражданина. Он не верил, что Россию можно поднять с обломовского ложа, что она отзовется на крики и призывы «политиков». Он знал, что у России есть своя «мечта». Может быть поэтому Василий Васильевич и предпочитал вести частные беседы почти в исповедальной форме?

Чаще всего и регулярнее он бывал у Суворина. В тиши и комфорте огромного кабинета с огромным итальянским окном, среди десятков тысяч книг и вороха рукописей они подолгу беседовали. Розанов сокрушался, что для такой деятельной, разворотистой природы так не хватало «мечты», «идеала», забывая о возрасте, об усталости, о разочарованиях бывшего бойца (искорки прошедших литературных баталий можно найти лишь в его «Дневнике»).

Суворин страстно любил книгу и подтрунивал, называя увлечение ею «милой, безобидной страстью». Именно здесь и сошлись интересы магната с интересами Розанова. Возвращаясь от Суворина к себе домой на Шпалерную, он с наслаждением зарывался в своих книгах. Сочинял (писал «Итальянские впечатления» — свежие, можно сказать, омоложенные заметки о жизни далекой теплой колыбели мировой культуры, где он недавно побывал). Или с глубоким волнением рассматривал древние монеты.

Нумизматика (его собрания насчитывало несколько тысяч монет и его знали как коллекционера античных монет) — нераскрытая страница биографии Розанова. Она — вдохновительница, она — материал для работы, она — повод для построения смелых и неожиданных гипотез. Долгие часы были им посвящены выискиванию в монетах «сакрального, религиозного содержания. Культ рода, культ жизненного начала, обожествление матери, языческая молитва жизни. Рационалисты и позднейшие интерпретаторы пытались отыскать в творчестве Розанова какую-то сексуальную патологию, культивирование недозволенной (но почему?) темы, ересианство.

Книги и монеты — звездные ночные бдения Василия Васильевича. Он работал много, засиживаясь далеко за полночь. Покуривая и попивая чай. Спал обычно до 2-х часов дня, и тогда в квартире полной детей (всех шестеро, включая падчерицу) наступал абсолютный покой. «Папочка отдыхает». Детей выводили на прогулку в Таврический сад или в Лётный сад.

Здесь он успел выпустить несколько книг: «Природа и история» (изд. Перцова, СПб, 1900 г.), «В мире неясного и нерешенного» (авторское издание 1901 г., СПб), «Семейный вопрос в России». Тома I-II (СПб, 1903 г.), «Около церковных стен». Тома I-II (СПб: 1906 г.) и переиздал шесть своих книг.

Но чем-то эта квартира показалась ему неудобной. Татьяна Васильевна — старшая дочь (дочь Надь умерла во младенчестве) предположила, что причинами частых смен квартир было нежелание производить ремонт (положенный по контракту о найме квартиры). Вряд ли это явилось основной причиной его переезда на новую квартиру. Ведь он сменил и район проживания. Мы полагаем, что Розанов просто-напросто убежал от «светского» С.-Петербурга с его обязательной программой жития «светского человека». Он, по-видимому, решил опять забраться в «угол», где ему можно было бы без помех читать книги, свободно фантазировать, разглядывать монеты, сочинять свои книги, писать статьи.

Мы уверены, что близость его квартиры к Таврическому дворцу, в котором открылась Государственная Дума и начались ее бестолковые, надрывные заседания, нервировала Розанова. Мещала ему сосредоточиться на обдумывании сложнейших вопросов. Особенно досаждали ему всяческие шумные проявления «политических» позиций, начиная с дебатов в редакции газеты «Новое Время». Его раздражали витийства в гостиных «друзей» (в этот период времени началось его размежевание с Мережковскими), включая шумы на самой Шпалерной улице. Наверняка, его начала угнетать безудержная, несколько монотонная, крикливая возня. И потому он захотел покинуть этот район столицы.

С 1907 г. он — житель кв. 12 дома № 4 по Большому Казачьему переулку. Ныне — переулок Ильича. Пристроился Василий Васильевич, как видим, в далеком и затаенном углу столицы. В своем новом кабинете, набитом книгами и монетами, в раздумьях, в редких разговорах зарождалась одна из тревожных его тем — пол и религия. По ночам ему казалось, что бесконечная, тускло поблескивающая дорога вела его прямо в Египет — сакральный центр мировой религии. Мечтал о новых книгах.

Одну из них он назвал «В темных религиозных лучах», другую хотел назвать «Возрождающийся Египет». Первая из книг успела выйти и попасть под топор цензуры в 1909 г. Но материал уцелел и частично вошел в его поздние книги «Темный лик. Метафизика христианства», «Люди лунного света. Метафизика христианства», «Из восточных мотивов». В этом «углу» зародилась его книга «Уединенное».

Вскоре у Розанова появился приятный сосед — Ремизов, который поселился в доме № 9 в том же Большом Казачьем переулке. Напротив дома Розанова и начались (точнее, продолжились) их долгие беседы. Вдумчивый, серьезно настроенный и воодушевленный Алеша Ремизов. Благодарный! Эпизоды их совместного проживания в этом «углу», впечатления от тесных соприкосновений мыслей он сумел передать в своей книге «Кукха. Розановы письма» (Б., 1923 г.).

На глазах Василия Васильевича рушился старый уклад жизни, гибла великая империя. Отбушевала ряженая в европейский костюм Государственная Дума, чудовищная говорящая мельница. Но чувствовалось, как немеет железная рука «реакции», как бессильны запоздалые меры спасения Великой России со стороны правительства. Как разобщены силы патриотов и как неумолимо и жестоко давит сплоченная группа «революционеров».

Из жизни уходили люди неукоснительного долга и несгибаемой воли, уходили навсегда государственные мужи. 10 марта 1907 г. умер К.П. Победоносцев. К сожалению, он не смог помочь решить семейный вопрос Розанова, который приходил лично просить Обер-прокурора Святейшего Синода (дом № 62 по Литейному проспекту). В азарте Розанов не пожалел горячих слов в его адрес, хотя позже он нашел в себе мужество сознаться в несправедливых нападках своих. По мнению Розанова фигура Победоносцева заслоняла истинную церковь от христиан. Розанов в те ранние годы был убежден, что Победоносцев — суровый блюститель церковных догматов. Которые, к слову сказать, не смел нарушать и сам Государь-император Николай II.

Несмотря на критику церковного законодательства, Розанов любил Иисуса Христа и дом его на Земле — Церковь. Любил родину, желая ей счастья и покоя. Но время тогда было смутное. Взять к при-

меру позицию поэта А.А.Блока, запальчиво выступившего в защиту «новой» России (его письма к Розанову в феврале 1909 г.) и позицию В.В.Розанова, защищавшего «старую» Россию и стоявшего на платформе «Союза Русского Народа». Читать о «Союзе» сегодня, прямо скажем, трудно. Но тогда, в годы «глухой реакции», голос Розанова был одним из немногих слышимых голосов, в котором звучала трезвая оценка происходящего, был одним из своевременных предупреждений. Убежденных, впечатляющих. Позицию его укреплял здравый смысл — зачем разрушать то, что с таким трудом и с таким терпением так долго складывалось?

Он не просто и тихо сидел в своем «углу» и «занимался нумизматикой». Нет, он находил время покидать его. Розанов — регулярный посетитель собраний Религиозно-философского Общества, начавшего свою работу в 1907 г. Он не был просто действительным членом Общества, а был частью его механизма, который составил из Мережковского, Философова, А.В.Карташева, М.И.Туган-Барановского. Формальный кворум не принимал Розанова и был ему враждебен, о чем красноречиво поведали события 1913-1914 гг. Но о них мы напишем чуть позже.

Что и говорить, Василий Васильевич умел передавать тончайшие оттенки настроений, но убеждать он не желал. Убеждать умели и хотели другие. Розанов был поэт и хотел им оставаться. Поэт предчувствий! Достаточно упомянуто его книгу «Итальянские впечатления» (СПб, 1909 г.), в которой автор сумел убедительно размежевать западный католицизм от восточного христианства, наполненного (правильнее сказать, сохранившего) почти языческим мистицизмом.

В том же 1909 г. Розанов поменял адрес на Звенигородскую улицу, дом № 18, кв. 23. Здесь несчастье постигло семью — тяжело заболела Варвара Дмитриевна. В доме, в книгах Розанова появилась боль. Врачи, консультации, консилиумы, лечение в клинике, — ничего не помогало. Горе поселилось в семье, все «повисло» на нервах. Требовалась уйма денег, а источник их был один — заработок Василия Васильевича. Прав оказался он, когда написал: «работа и страдание — вот вся моя жизнь».

Внешне жизнь российская стала окрашиваться в зловещие тона. Ему припомнилась защита Блоком «молодых», «красивых», «самоотверженных» борцов за «новую» Россию (все те же февральские письма поэта 1909 г.), в которых Розанову виделось чуждое, древнее — «дай полизать крови». В современных экстремистах ему виделась личина Каинов и Смердяковых, лакействующих «всемирно». В его ответе поэту звучат те же мысли, которые он повторит спустя некоторое время в связи с «делом Бейлиса».

1 сентября 1911 г. в Киеве был смертельно ранен (умер 5 сентября) П.А.Столыпин. Вероятнее всего, что туда Розанова откомандировал Суворин, как сотрудника газеты. Известны две статьи «Перед гробом Столыпина» и «Историческая роль Столыпина», которые были опубликованы в газете «Новое Время» (№ 12771 и № 12777 от 1 и 7 октября 1911 г.). В первой статье есть такие строки: «За спиной Столыпина засветилась тысяча надежд, пробудилась тысяча маленьких пока усилий». Может быть этим помешал покойный премьер-министр «политикам», которые методично «пропальвали» Россию? Уничтожая доверие народа к своей религии, к своему дворянству, к своему купечеству, к своей армии, к своему царю. Физически устраняя путем непрерывного террора лиц могущественных и смелых. Именно им — этим «политикам» бросил в лицо П.А.Столыпин свои бессмертные слова: «Не запугаете!».

На далекий остров Капри из С.-Петербурга летели письма Розанова (переписка 1911-1912 гг.), в которых он спорит с интерпретацией Максима Горького значения русской литературы и роли в ней «страдальцев». Он признается о своей симпатии к старой церкви, и антипатии к молодым социал-демократам. Он без обиняков пишет о том, что его симпатии на стороне К.Н.Леонтьева, Страхова, Говорухи-Отрока, а не на стороне мифологизированных «страдальцев» вроде Н.К.Михайловского (Гроньера) или М.Е.Салтыкова («Н.Щедрина»).

Как мы видим, Розанов боролся не только в жизни, не только на собраниях Общества, но и в частной переписке. В те взъерошенные годы, когда немногочисленная русская интеллигенция стала резко поляризоваться на «реакционеров» (чаще всего упоминались сотрудники газеты «Новое Время») и «революционеров» (вся без остатка «либеральная» печать). Наступило время выбора для интеллигента — «либо — либо». Средний путь (нейтралитета, независимости) означал для него голодную и верную смерть.

«Революционной» тематике Розанов посвятил свою книгу «Когда начальство ушло» (СПб, 1910 г.), одновременно продолжая знакомить читателя со своей трактовкой религии. Книги «Темный лик. Метафизика христианства» и «Люди лунного света. Метафизика христианства» вышли в С.-Петербурге, в 1911 г. Строго говоря, две последние его книги — не более, чем заявка на тему, рабочая гипотеза, вызов ученому миру, который старательно обходил «деликатную» тему.

Четыре года (1912-1916) Василий Васильевич прожил в кв. 21 дома № 33 по Коломенской улице. Как мы убеждаемся, он не покидает района; видимо, его устраивает оторванность от центра города, от шума и прочих помех. Случилось неизбежное, непоправимое — 11 августа 1912 г. у себя на даче в

Царском Селе умер Суворин. Для Розанова это был жестокий удар, хотя он и был своевременно передан в руки наследников. Памяти человека, так много сделавшего семье и самому Василию Васильевичу, была посвящена очередная книга литератора «Письма А.С.Суворина к В.В.Розанову» (СПб., 1913 г.).

В феврале 1913 г. в стране ожидалась амнистия политическим преступникам. Не вытерпел Розанов, написал статью «Не нужно давать амнистии эмигрантам» (журнал «Богословский Вестник» за март 1913 г., редактором которого был П.А.Флоренский). Как всегда написанная ярко, твердо, четко. Отступникам, воспевающим гимны хищениям и разбоям, не место в России. Назвал имена — Г.В.Плеханов, князь П.А.Кропоткин, Н.А.Морозов. Выступление в печати прозвучало одиноким, почти неслышным голосом. Но в памяти людей обидчивых оно сохранилось. И припомнилось.

В 1913 г. Розанов некоторое время пробыл в Киве в связи с «делом Бейлиса». По «делу» опубликовал две статьи, в которых звучала жалость к жертве невинной и негодование к продажным перьям «либеральных» писателей. Мы имеем в виду его статьи «Андрюша Ющинский» и «Наша кошерная печать» (газета «Земщина» от 5 и 22 октября 1913 г.). Статьи привлекли внимание читателей, а в стане «либералов» вызвали тревогу и раздражение. Их реакция была немедленной. Так, 24 октября Розанов отметил, что его «прокатили» за одновременное сотрудничество в двух газетах. Подразумевались газеты — столичная «Новое Время» и московская «Русское Слово», в которых он давал одним и тем же фактам разные объяснения. С точки зрения абстрактного морального кодекса писателя (был ли такой?) его обвиняли в двурушничестве и лицемерии со всеми вытекающими последствиями.

Возникло «дело Розанова». Оно стало предметом обсуждения в Религиозно-философском Обществе. По существу «дела» речь шла о трех статьях — об амнистии, о жертве невинной и о писателях. Наиболее вредными для «общественной порядочности» посчитали две последние статьи Розанова. Именно они и ущемляли интересы («общественную порядочность») «угнетенной нации» и «либеральных» писателей. Автор назвал их: Мережковский, Философов, А.В.Пешехонов, П.Н.Милюков, С.С.Кондурушкин, Б.В.Савинков («В.Ропшин»), Н.М.Виленкин («Н.Минский»).

На расширенном заседании Общества, на котором присутствовали помимо действительных членов еще и так называемые члены-соревнователи и просто приглашенные, 24 января 1914 г. разгорелся спор. Зала Императорского Географического Общества (Демидов переулок, дом № 8<sup>а</sup> — ныне переулок Гривцова) была переполнена и возбуждена; выступавшие недоумевали: откуда возникло такое упор-

ство у членов Совета по отношению к Розанову? Не станем ли мы в скором времени жертвами подобной «тиранической демагогии»? Откуда в практике Совета проявилась явная склонность к «полицейской мере изгнания»? Наконец, в силу какого права выступавшим «заграждают уста»?

Естественно, что ответов от членов Совета ни вопрошавшие, ни присутствовавшие не получили, а потому собрание ограничилось принятием резолюции о «невозможности» совместной работы (за принятие резолюции из 53 действительных членов проголосовало 41, против — 10, воздержалось — 2). Ограничились, так сказать, моральными мерами: что-то вроде общественного порицания. Точку поставил Розанов. 14 февраля 1914 г. он отправил на имя председателя Общества Карташева письма, в котором имелись следующие строки: «честь имею покорно просить Вас... исключить меня из действительных членов Религиозно-философского Общества».

Понятно, что к Мережковским Розанов перестал ходить. Реже стал появляться на «башне» (ее деятельность замерла в 1912 г.). Бывал он у Ремизовых, снимавших квартиру в доме № 7 по Таврической улице. Хлопоты одолевали его. На этот раз книга «Уединенное» (вышла из типографии Суворина в 1912 г.), сразу по выходе из печати в начале марта попала под цензурный запрет, наложенный Комитетом по делам печати. Была применена статья 1001 «Уложения о наказаниях», призванная охранять общественную нравственность от порнографии. Пришлось автору ехать в Комитет (адрес: дом № 3 по улице Театральной — сегодня, зодчего Росси) объясняться.

Книга была признана вредной и тираж был арестован. Дело передали по инстанции — в Окружной суд. В здании Петербургских судебных исполнений (Литейный проспект, дом № 4. Здание разобрано и на его месте стоит знаменитый «Большой дом»), в котором размещались Окружной суд, Перербургская судебная палата и др. учреждения, состоялся суд и был зачитан приговор: автор подлежит аресту на 10 дней. Розанов не сдался и в результате его действий приговор был отменен (книга лишилась всего лишь нескольких страниц). В 1916 г. ему удалось издать ее вторично с восстановлением всех мест, изъятых цензурой.

Необычно свежий, смелый стиль изложения книги «Уединенное» удивил многих. Сам автор нашел его удачным и продолжил в своих последующих книгах — «Смертное» (СПб., 1913 г.), «Опавшие листья» (СПб. 1913 г.), «Опавшие листья. Короб второй и последний» (Пг, 1915 г.). Последняя книга звала у Блока прилив восторга. Казалось, что творчество Розанова неисчерпаемо. В 1913 г. он выпустил книгу «Литературные изгнанники». Том I

(СПб.), в которой, по его словам, стремился запечатлеть «последние человеческие голоса». В следующем году вышли книги «Среди художников» и эпатирующая до сего времени «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (обе вышли в С.-Петербурге).

Трагические события, начавшиеся 19 июля, отразились в его книге «Война 1914 г. и русское возрождение», которая вышла дважды в Петрограде в 1914-1915 гг. Вторым тиражом выпущена книга «Люди лунного света. Метафизика христианства» (СПб., 1913 г.). Да, Розанов был в отличной форме. Позиции его как мыслителя, интерпретатора, стилиста, художника приобрели определенный (непоторимо оригинальный) характер, а неистощимая его мысль вела все дальше и все глубже. Достаточно лишь ознакомиться со списком книг, намеченных им к изданию. Список 1912 г. По теме религиозной: «Во дворе язычников», «Древо жизни и идея скопчества», «Юдаизм». По теме злободневной: «Чиновник», «Черный огонь» (о революции и революционерах). По теме профессиональной: «О писателях и писательстве». По другим темам: «Кавказские впечатления», «Германские впечатления», «Русский Нил», «В связи с искусством»...

Последние месяцы пребывания Розанова в столице (1916-1917 гг.) связаны с домом № 44<sup>б</sup> по Шпалерной улице (кв. 22). Похоже, что обстановка в районе, где он укрывался в «углу», стала тяготить. Волнения заливали почти весь город (не говоря о стране). Ему показалось, что в солидно выстроенном в стиле «модерн» доме можно будет спастись как библейскому Ною. Квартиру выбрали на 5-м этаже, она состояла из 7 комнат и имела два балкона (точнее, балкон и полубалкон). С них открывался царственный вид на Петроград: сияющий великолепием Смольный собор, распластанный по земле огромный Таврический дворец, увенчанный тяжелым куполом и стеклянной крышей над залом Государственной Думы. За массивом Таврического сада угадывалась «башня», чуть дальше — дом, в котором жили Ремизовы, здание Императорского Клинического института вел. кн. Елены Павловны, в которой лечилась Варвара Дмитриевна.

Любопытная деталь. Вокруг дома — казармы и церкви. Если сегодня взглянуть с балкона Розанова, то в целом городской пейзаж почти не изменился. Странное совпадение. С балкона он мог видеть дом № 39, с которым у него были связаны впечатления о революции 1905 г. И теперь, в феврале 1917 г., ему пришлось вновь испытать весьма схожие впечатления — в основном, растерянность и беспомощность. Высокий этаж его дома привлекал внимание возбужденных солдат, матросов и рабочих, с остервенением искавших «городовых» и «пулеметчиков».

Дворникам было запрещено держать ворота дома закрытыми.

Февраль 1917 г. был богат событиями. В основном, тревожными. Из «Дома предварительного заключения» (дом № 25 по Шпалерной улице) были выпущены на волю его узники. Рядом с ним горело здание Окружного суда, на Тверской улице — здание Министерства внутренних дел. Стреляли на улицах однажды так интенсивно, что Мережковские, жившие против дома Розанова на углу Сергиевской и Потемкинской улиц вынуждены были скрываться в тех комнатах своей гигантской квартиры, окна которых выходили во двор (сюда часто «по пути» навещался А.Ф.Керенский). По ночам на улицах города полыхали костры, а на Сергиевской улице умудрились поставить даже орудие. Видимо, для устрашения.

Какое тут спокойствие? Какое может быть писательство? И тем не менее, Розанов продолжал работать. Главное его занятие — Египет. Материалом бывшего Императорского Эрмитажа пользоваться стало затруднительно, нумизматы — исчезли. Выручала собственная коллекция монет и два помощника — Т.Н.Гиппиус (художница, сестра З.Н.Гиппиус, жившая поблизости, в доме № 22 по Кавалергардской улице, сегодня, улица Красной Конницы) и Э.Ф.Голлербах из Царского Села (любопытный, настырный коллекционер и графоман). Из печати вышло 3 (из 10 запланированных) выпуска «Из восточных мотивов» (Пг., 1916-1917 гг.) и вторым изданием книга «Уединенное» (в полном объеме).

Все реже и реже стал выходить из дома Розанов, ограничиваясь прогулкой по Сергиевской улице. Город был переполнен беженцами, дезертирами, солдатами запасных полков, кронштадтскими матросами и прочим праздным людом. Характерный для тех дней уличный эпизод Розанов привел на страницах своего «Апокалипсиса нашего времени» (10 выпусков его вышли в Сергиевом Посаде в 1917-1918 гг.). Его чуть было не арестовал какой-то рассерженный солдат. На углу Литейного проспекта и Бассейной (Некрасова) улице, близ редакции газеты «Новое Время». А ведь по адресным книгам Петрограда за 1916 г. и 1917 г. он — «сотрудник газеты «Новое Время». Иметь такую аттестацию по тем временам было равносильно объявлению себя врагом революции (достаточно вспомнить трагический конец Меньшикова в 1918 г.). Так, что о дальнейшем пребывании в Петрограде речи быть не могло.

В сентябре 1917 г. из Сергиева Посада пришло письмо от Флоренского, в котором он оповещал — дом для Розанова найден. Собрались без промедлений, забрав с собой самое необходимое (рукописи, книги, часть монет) и примерно к 10 октября Розанов стал жителем Сергиева Посада. Жить ему осталось немногим более года.

*Анатолий Копп родился 1 ноября 1917 года в Петрограде, куда из Франции его родители приехали в 1914 году в свадебное путешествие, затянувшееся в связи с войной до конца 1917.*

*Анатолий Копп известный французский архитектор и историк архитектуры. Автор книг «Город и революция» (1967), «Сталинская архитектура» (1978).*

## **ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ**

### **АНАТОЛЬ КОПП**

Мне бы хотелось продолжить свои соображения об отношениях, которые могут существовать, а на мой взгляд, и существуют, между видами архитектуры и социально-экономической, а также политической организацией общества.

В статье «Гипотеза о существовании „левой“ архитектуры и „левого“ градостроительства» я уже говорил о значении периода между двумя мировыми войнами для истории того, что принято называть архитектурой «модерна». Я писал о том, что идеи новой архитектуры, с самого начала встретившие сильное противодействие, происходили из социально-экономических и технических изменений. Я также попытался показать, что на практике эти идеи лишь в незначительной мере повлияли на архитектурную среду 20-х—30-х годов: большая часть построенного в те годы была создана не известными тогда прогрессивными архитекторами, чьи имена сегодня у всех на устах, а совсем наоборот — все это было просто продолжением заведенного порядка, словно идеи новой архитектуры падали в пустоту.

В то время новая архитектура не была воспринята, считалась побочной и оставалась достоянием немногих. Конечно же, были и «Новый Франкфурт» Эрнста Мэя, несколько сооружений Ле Корбюзье, здание Наркомфина в Москве, построенное по проекту Моисея Гинзбурга, венский «Карл Маркс Гоф», Баухауз, новые кварталы Роттердама, творения Альварито и т.д. Но все это было скорее исключением из правил, каплей в море. И на основе этого я сделал вывод, что раз предложенное тогда так и осталось на бумаге, то произошло это не только по причине непонимания, не только по вине административных структур, даже не из-за того, что новая архитектура своей новизной шокировала царившие вкусы. Ее провал был обусловлен прежде всего политическими причинами, поскольку сама по себе эта архитектура в чем-то являлась выражением нового мировоззрения, нового представления об устройстве общества. Я выдвинул мысль о том, что прогрессивные архитекторы — некоторые осознанно, а большинство неосознанно — создавали свои проекты не для современного им общества, а для такого, каким оно должно стать и скоро станет.

Я исходил из опыта советских архитекторов и градостроителей двадцатых годов, которые задумывали здания, прилегающие территории не как строительные объекты, более или менее приспособленные под ту или иную функцию, а в качестве, как говорил тогда глава общества современных архитекторов Моисей Гинзбург, «социальных конденсаторов». Такие «социальные конденсаторы» рассматривались одновременно как матрица и отражение нового общества. Как матрица, поскольку в этих строениях прежний человек должен был стать новым человеком, о котором в то время много было разговоров. Как отражение, поскольку они разрабатывались по образу общества будущего, именно того, которого еще не было, но к созданию которого тогда как раз приступали и построение которого должно было привести в повседневную жизнь то новое измерение, потребность в котором испытывается и поныне. Такое понимание роли архитектуры уже давно разъяснили сами советские архитекторы 20-х годов. Для них архитектура и политика были единым целым, а то, что сегодня стало частью всемирного языка современной архитектуры — свайное основание, стекловолокно, бескатные крыши, свободная планировка — все это было словарным запасом «левой архитектуры».

Я писал: «Для создания этой архитектуры, этого градостроительства, столь привычных и характерных для двадцатых и тридцатых годов, необходимо было непременно опираться на новые технические возможности, неведомые в предшествующие столетия. Но разве в этом все дело? Представляется, что не только в этом. Ведь именно идея глубоких и неизбежных преобразований общества позволяла верить в возможность широкого распространения продукции дизайнеров Баухауза, в возможность жить в «подобного размера домах» Ле Корбюзье, в возможность приведения городов и сел в соответствие с разработками Международного конгресса по современной архитектуре (CIAM). И весьма вероятно, что большинству новаторов представлялось, будто они видят это грядущее общество, и оно способно понять и полностью воплотить их проекты. По крайней мере, такая гипотеза представляется вполне допустимой, когда сегодня читаешь кое-что из написанного в то время, например, серию публикаций под руководством Эрнста Мэя, озаглавленную «Новый Франкфурт», когда сегодня посещаешь некоторые сооружения, построенные почти сорок лет назад, рассматриваешь некоторые проекты. Представляется, что проект «жизненной рамки», задуманный в Западной Европе, был менее законченным, менее обращенным в будущее, чем советский. И все-таки такой проект существовал и, похоже, что и он основывался на социальном контексте, открытом к скачку вперед, к новому обществу».

И в заключение я писал, что левая архитектура действительно существовала и что с этой архитектурой боролись, отрицали ее содержание и ее форму, поскольку она была сознательным или бессознательным выражением вопроса об изменении общества. Я писал, что эта архитектура могла родиться и

развиваться только в условиях поиска нового проекта социального развития, то есть, если называть вещи своими именами, в условиях ожидания глубокой экономической, социальной и политической революции, которая в конце 20-х и начале 30-х годов многим казалась неизбежной в Европе.

Сейчас мне хотелось бы выделить три основных вопроса и попытаться дать на них ответ.

#### Пункт первый

Как получилось, что при существовании столь разных политических режимов, какие были в Советском Союзе, и например, во Франции или Германии в 20-х годах, архитектурные формы, принятые советскими архитекторами-модернистами, Баухаузом или Ле Корбюзье, фактически одни и те же, язык этой архитектуры фактически один и тот же?

#### Пункт второй

Как получилось, что та архитектура, с которой боролись как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах, после второй мировой войны, стала в какой-то мере общим средством выражения для всех архитекторов, а ее архитектурные формы, разработанные для нового общества, были в конце концов приняты обществом, которое не претерпело никаких изменений?

#### Пункт третий

Как получилось, что в Советском Союзе все же занялись сталинскими архитектурными проектами? Почему вернулись к тому, что даже не осмеливались называть «классицизмом»? А также, как получилось, что после окончания этого периода, с середины 50-х годов, мы видим в СССР те же самые клише, что и во всем мире?

Полагаю, что по первому пункту я уже частично дал ответ. В Советском Союзе собирались строить новое общество. Была нужна новая архитектурная среда, которая бы соответствовала образу грядущего. каким его себе представляли. И советские архитекторы того времени за каких-нибудь десять лет, когда их связи с коллегами на Западе были ограниченными, придумывают, разрабатывают тот язык архитектуры, который, за неимением лучшего термина, продолжают называть архитектурой «модернизма». Она основывалась на новых технических возможностях и на новых социальных потребностях. В Западной же Европе одержала верх (примерно 99 % общего объема строительства) архитектура, не имеющая ничего общего с той, которая в СССР официально называется «левой архитектурой». Достаточно вспомнить результаты конкурса на проект Дворца Лиги Наций, для того, чтобы поставить архитектуру Западной Европы на свое истинное место. Она была экспериментальной разработкой, занимала второстепенное место и основывалась на более или менее ясно выраженной идее о наступлении важных политических и социальных изменений, которые и обеспечат расцвет этим новым архитектурным формам. Также, я полагаю, что язык архитектуры Баухауза, Ле Корбюзье и советских архитекторов того времени в основном один и тот же, поскольку все они, само собой разумеется, в различ-

ной степени воспринимают все с точки зрения перспективы социальных изменений.

2. Но тогда следует перейти ко второму пункту: если эта архитектура была «левой», если она действительно была «революционной», то как объяснить ее внезапное принятие после второй мировой войны во всех индустриально развитых странах (за исключением, как раз, Советского Союза)?

Послевоенный период, за исключением, быть может, нескольких лет, которые последовали сразу после окончания военных действий, отмечен в Западной Европе, как и в большинстве индустриально развитых стран, исчезновением надежды на быстрые политические изменения, распадом того, что питало великие ожидания двадцатых и тридцатых годов. Потрясения, которые даже такой человек, как Ле Корбюзье считал совсем уже близкими и неизбежными, похоже, откладывались на далекое будущее, а практическое осуществление этих ожиданий в Советском Союзе и большинстве стран социалистического лагеря все еще было далеко от завершения. В этих новых условиях то, что когда-то было «левой» архитектурой, «революционной» архитектурой, которая противостояла существовавшей и предвещала наступление новой эры, было принято по крайней мере на уровне формы, и на функциональном уровне. Но это, правда, касается не только архитектуры. Раз «буржуазный мир» может принять в своей собственной системе понятие «плановая экономика», которая до второй мировой войны использовалась только в Советском Союзе, то почему также и архитектурные формы, лишенные своего содержания, вырванные из своего социального контекста, не могли быть эффективно использованы, принеся технические и функциональные решения тех вопросов, которыми столь долго пренебрегали.

3. И в-третьих, как объяснить, что, начиная с тридцатых годов, «левая» архитектура, которая на взгляд некоторых должна была стать официальной архитектурой строящегося в СССР социализма, осуждалась, а потом и пропала. Как объяснить расцвет сталинской архитектуры? Представляется возможным если и не дать ответ, то, по крайней мере, указать некоторые доводы, которые позволяют понять это внезапное исчезновение того, что в глазах всего мира было олицетворением архитектуры социализма и будущего общества.

На следующий день после октябрьской революции, вставшие у власти большевики, оказались предвзятой пустотой. Было известно, как работала и какими пороками обладала прежняя система, но ни у классиков марксизма, ни у Ленина не было точного представления о том, каким будет внутренний механизм нового социалистического общества. Конечно же, были великие принципы: общественная собственность на средства производства, прямая демократия, диктатура пролетариата и т.д. Но не было ответа на вопросы, касающиеся повседневной жизни, внутренней организации общества. Двадцатые годы — это годы проб и поиска. В ту пору — и многочисленные работы и документы это подтверждают

— в умах простых людей было живо некое представление о новом обществе. Такое представление было в значительной мере обязано своим существованием утопическому социализму XIX века — Фурье, Оуэну, Кабе и т.д., идеи которых русские народники в какой-то мере внедрили в народ, связав их с некоторыми традиционными представлениями о сельской общине. Такой социализм жил в двадцатых годах в умах многих людей. Он основывался на идее исчезновения эксплуатации человека человеком, но также и полного равенства независимо от выполняемой работы, на идее коллективистской жизни. Конкретно это выразилось в России в создании многочисленных коммун, где люди жили и работали вместе, коллективно решали свои проблемы. Многим казалось, что социалистическое общество будет миром таких коммун, и для них архитекторы вот-вот создадут новый тип здания, (Дом Коммун), которое соединит в едином архитектурном ансамбле жилье и производство, что предусматривает предсказанное Энгельсом исчезновение традиционной семьи, а следовательно, традиционного семейного жилья.

Именно в контексте этой утопии советские архитекторы и градостроители 20-х годов, хотели воплощать свои проекты и разрабатывать совершенно новую архитектурную среду.

Как известно, утопии уравнительного общества не суждено было осуществиться. В результате определенной социальной прослойка монополизировала власть и в течение долгих лет строила общество, явно весьма отличное от так называемого капиталистического, но столь же явно далекое и от «социального проекта» двадцатых годов. Эта прослойка, похоже, переняла вкусы, привычки, образ жизни прежнего правящего класса — появились вновь не только «классическая архитектура», но и форменная одежда для школьников и школьниц, заимствованная из XIX века, и погоны, как прежде у царских офицеров, и наступил конец смешанному обучению, и была провозглашена традиционная роль семьи как ячейки общества, и возобладала викторианская мораль в отношениях между полами. Отсюда следует, что если в Советском Союзе построили не то общество, которое мыслилось на протяжении 20-х годов, а другое, то стоит ли удивляться тому, что архитектура 20-х годов исчезла одновременно с самим социальным проектом. «Левая» архитектура, как и все проявления «левизны» в политике, искусстве, экономике подверглась преследованиям. В период с 1930 по 1955 год ее считали не менее опасной и пагубной, чем все, вышедшее из-под пера, с критикой сталинской системы. Но эти времена прошли, и так же, как в Западной Европе, в Советском Союзе «левая» архитектура 20-х годов была взята на вооружение безо всякой опаски для существующей системы с тем, чтобы найти ответы на технические и функциональные проблемы, путем использования некоторых сторон этой революционной архитектуры. И если московский Арбат во многих отношениях похож, как брат родной на парижский Мэн-Монпарнас, то несомненно в этом есть и политические при-

чины, которые в какой-то мере вытекают из изложенного выше.

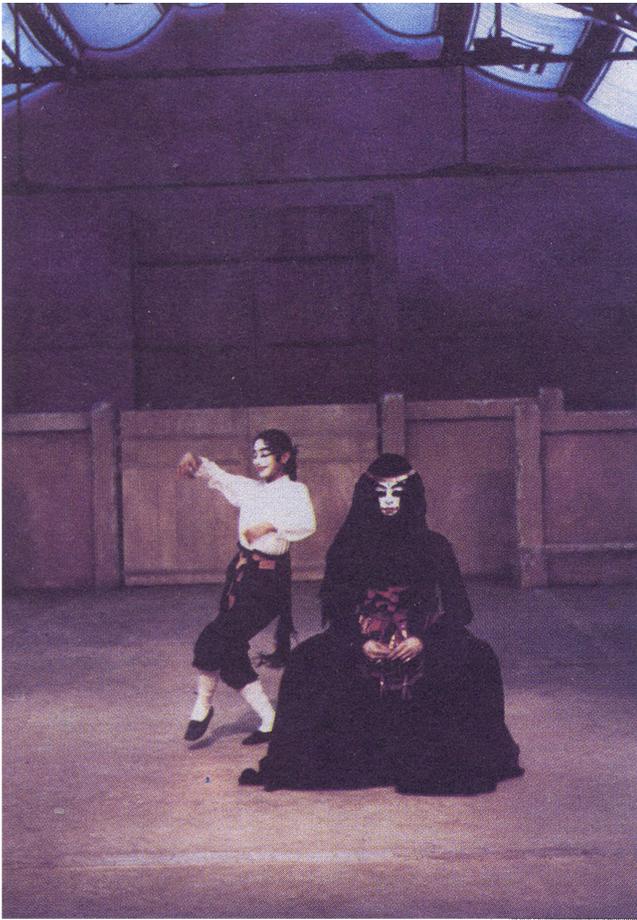
Сегодня мы оказались в странном положении. Многие архитекторы мира предлагают различные решения на уровне города, региона, некоторые — даже в масштабах континента. Нам предлагают города в форме кисти винограда, пирамиды, городов-сеток и городов-покрывал, простирающихся над уже существующими городами и весями. Нам предлагают широкие возможности как уже существующей техники, так и той, что грядет. Идет ли в данном случае речь о «революционной», как называют ее некоторые, архитектуре? Лично я так не думаю. Я полагаю, что большой урок, данный в 20-е и 30-е годы, заключается не в тех замечательных для своего времени технических достижениях, не в применении бетона, стекла или стали, а в основном в той идее, что всякая подлинно новая, подлинно революционная архитектура возможна только в рамках социального взрыва, поскольку архитектура, градостроительство, планировка территории есть и всегда будут лишь отражением общества, которое их создало и приняло.

Движение мая 1968 года во Франции снова сделало этот вопрос актуальным. Но времени отпущено было мало. Хватило — чтоб только вспомнить о нем. Кое-кто, разочарованный неудачей, подался к новой утопии — думать, будто изменяя свой собственный образ жизни, мало-помалу можно изменить и все общество. И вот, то тут, то там возникают группы, которые как и в России 20-х годов называются коммунарами, а в некоторых из них, во всяком случае в США, разрабатывают архитектуру, отвечающую их новым потребностям. Однако мне представляется, что заниматься этим — все равно, что ставить телегу впереди лошади. Я не верю в возможность создания крошечных островков другой, отличающейся жизни, а еще меньше — в возможность как-то особо их организовать, найти им архитектурное выражение.

Я полагаю, что решающим уроком 20-х годов является то, что глубокие перемены в архитектуре могут произойти только в рамках «социального» проекта, причем архитектура и градостроительство никогда не являются тому причиной, а только следствием.

1. L'Architecture d'Aujourd'hui — 1969. № 16.

Перевел с французского Юрий Федоров



Photos de Michele Laurent

## ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ В ПОСТАНОВКЕ АРИАДНЫ МНУШКИН: «ИФИГЕНИЯ В АВЛИДЕ»

ЖАНЕТ САВЕН

«Атриды» — таково название цикла греческих трагедий, поставленных в Theatre du Soleil. Премьеры спектаклей, о которых здесь пойдет речь, «Ифигения в Авлиде» и «Агамемнон», состоялись в ноябре 1990 года, премьера спектакля «Хоэфоры» («Приносительницы возлияний») была показана в марте 1991 года, а «Эвмениды» пойдут в 1992 году. «Атриды» — это блестящее музыкальное действо, которое теперь ассоциируется с Theatre du Soleil. Новшества этих спектаклей (особенно трактовка Хора и использование музыки) открывают интереснейшие возможности для развития современного театра, и были по достоинству оценены во Франции в конце июня 1991 года, когда Ариадна Мнушкин получила «Гран При» сезона как режиссер-постановщик.

Жюри также присудило награду композитору и музыканту театра Жан Жаку Леметру. Он написал 84 танца, подобрал или изобрел 47 из 190 инструментов, звучавших в трех уже поставленных спектаклях. Замечательна также и сама музыка, сочиненная композитором для сопровождения диалогов. Ее мотивы соответствуют и основным музыкальным правилам, и литературной образности. Например, в спектакле по Эврипиду в момент, когда речь заходит о жертвоприношении Ифигении, звучит восходящая минорная треть. В это время текст концентрирует внимание зрителя на жертвоприношении, постоянно напоминая о нем, и вся сцена сопровождается вариациями лейтмотива, исполняемого другими инструментами струнной группы.

Использование различных музыкальных вариаций и такой ход театрального действия обусловлены тем, что Хор декламирует текст. Таким образом, Мнушкин и Леметр жертвуют красотой пения ради четкого звучания текста.<sup>1</sup> Хотя это и приводит к потерям, тем не менее лейтмотив создается с помощью двух дополняющих друг друга выразительных средств: декламацией, четко доносящей смысл слов, и более ярким музыкальным сопровождением, что открывает новые возможности, особенно для трагедии.

Для того, чтобы добиться четкого звучания текста, хоровые партии произносятся только одним актером, обычно ведущим солистом Хора. Роль же Хора, как ансамбля, сведена к танцам. На репетициях, которые продолжались семь месяцев и строились обычно на импровизации в поисках раскрытия характеров героев, оформлении сцен и даже костюмов, за основу были взяты танцы народов Малой Азии. Три члена труппы использовали в хореографии элементы так называемого азиатского «языка танца», а также свой собственный разнообразный танцевальный опыт, включающий армянские народные традиции и искусство исполнения индийских танцев Катхакали и Бхаратха Натиам.

Оформление сценического пространства, как и проведение репетиций, соответствовало замыслу Мнушкин. Для цикла «Атриды» таким пространством является арена с трех сторон окруженная коричневато-желтыми стенками чуть выше полутора метров. Эта высота позволяет актерам легко влезать на них и также естественно показываться над ними. Такие действия часто продельвает Хор, когда хочет отделить себя от героев или от самого действия. Солисты Хора также часто сидят и стоят на узких скамьях, встроенных в стены. Таким образом, периметр просторной сценической площадки, лишенной декораций, позволяет актерам располагаться на разных вертикальных уровнях.

Посередине задней стены находятся коричнево-желтые ворота, расположенные прямо перед высо-

кими голубыми дверями.<sup>2</sup> Обычно и ворота, и двери закрыты, и открываются лишь в торжественных случаях. Иными словами, вход на сцену возможен через четыре прохода, скрытых в простенках: по одному с каждой стороны от центральных ворот в задней стене и по одному в центре каждой боковой стены. Последние из упомянутых простенков преобразуют входы из боковых в центральные, что очень важно для восточного стиля пьесы, где актер обычно стоит лицом к публике. Особой выразительности расположения актеров в центре, а не по краям сцены, способствует и неглубокий двухступенчатый спуск с авансцены. По нему можно подняться на сцену и спуститься до конца подвижной площадки, расположенной в проходе зрительного зала. Актеры могут также входить и выходить через проход, находящийся в зале на уровне десятого ряда.

Оформление сцены производит сильное впечатление. Закрытые ворота и простенки, сделанные из такого же материала, как и стены, делают зримым замкнутое пространство. Мнушкин очень эффектно использует такое оформление для создания мира границ, очерченных судьбой. В то же время она придала этому миру особую освещенность белыми полотняными кулисами, полотнища которых над сценой отделаны голубым.

### «Ифигения в Авлиде»

Спектакль начинается в тот момент, когда два музыканта занимают свои места в галерее справа над сценой. Как только зритель входит в театр, он слышит записанный на пленку приглушенный звук барабанов, который затем усиливается дробью, переходящей в крещендо, и заканчивается гонгом в тот самый момент, когда гаснет свет. Фигура в черном с густыми темными волосами перепрыгивает через заднюю стенку и садится, скрестив ноги, на пол — это Агамемнон. Затем появляется вторая фигура в белом — это его старый слуга. Вопросы слуги тут же раскрывают трагический конфликт Агамемнона — между его любовью к Ифигении, с одной стороны, и страхом за армию и желанием славы, с другой. Агамемнон рассказывает историю прекрасной Елены, своей свояченицы, говорит о соперничестве среди ее многочисленных поклонников, о том, как она выбрала его родного брата Менелая в мужа, о том, как ее обманом увезли в Троию, о сосредоточении греческого флота, который из-за штиля находится сейчас в Авлиде. Оракул предсказал, что подует попутный ветер, если Агамемнон принесет в жертву свою старшую дочь.

Текст этой длинной, совершенно захватывающей декламации не сокращен. Драматическое повествование, большое число актеров, особенно молодых, выгодно отличает Theatre du Soleil. Одно из

основных положений Ариадны Мнушкин таково: актер не просто рассказывает историю, он рассказывает ее кому-то. Она учит своих актеров сосредоточиться на ком-то из зрителей и обращаться именно к нему. Такое общение создает тесный контакт актера со зрителем и достигает большой выразительности не только за счет превосходного, как правило, исполнения речитатива, но также за счет использования традиций восточного театра. Наиболее важная из этих традиций в греческих постановках — богатый язык пластики индийского театра Катхакали. Контакт актера со зрителем помогает и грим: удлинённые глаза и брови, очерченные жирными черными линиями на бледном лице, создают естественную маску и в то же время оставляют черты лица подвижными и выразительными.

Первая сцена заканчивается тем, что зритель узнает о втором письме к Клитемнестре, где он отменяет приказ — привезти Ифигению в Авлиду для бракосочетания с Ахиллом, и «откладывает» фиктивную свадьбу. Агамемнон поручает слуге доставить его это письмо Клитемнестре.

Затем кажется, что на сцену выбежит весь Хор, так как все солисты танцуют почти одновременно в описанных ранее проходах, скрытых в стенах. При этом для энергичных танцев и прыжков танцовщики используют прием Катхакали — позицию раздвинутых ног, согнутых в коленях. Звучит лирическая мелодия, исполняемая на барабанах и разных струнных инструментах, включая иранскую кость и турецкие инструменты группы лютневых.

У Эврипида Хор отождествляется с группой молодых женщин из Халкиса. В данном спектакле он состоит как из актрис, так и из актеров, представляющих юные женские создания, которые имеют остатки рогов или копыт. Их сценический образ как неких мифических существ подчеркивается оформлением нижней части тела: накладные бедра, длинные белые юбки с красными клапанами для подушечек по бокам и сзади, а также напуски из красной материи на животе. Костюмы подчеркнуты искусно выполненной отделкой: золотые безделушки, вышитые на лифе, браслеты и маленькие декоративные головки. Пышно отделанные костюмы, наряду с множеством танцев, дают представление о жизни древнего рода во всей ее красоте и жестокости.

Тогда как большинство танцев в «Ифигении» быстры и энергичны, остальные исполнены неспешной грацией и красотой. Существует тесная связь между хореографией и звучанием речитатива Хора, создающих образы сражения, самопожертвования, с одной стороны, и лирическую поэзию моря, зеленых гор и полей — с другой. Длинные эпические пассажи этих речитативов оживают на сцене благодаря не только музыкальным средствам и технике исполнения, описанными ранее, но также благодаря плавно

звучающему переводу<sup>3</sup> и исключительно медоточивому голосу и прекрасной дикции солистки Хора Катарины Шауб.

Сцена, следующая за открывающей спектакль хоровой интерлюдией, показывает первое из двух основных переживаний Агамемнона и сосредотачивает внимание (зрителя) на противостоянии между ним и Менеласом, который перехватил и прочитал письмо Агамемнона к Клитемнестре. Хор отходит за стены, чтобы все это послушать и время от времени комментировать. Картина, которую изображают эти два героя, имеет скрытый смысл. Герои с бледными лицами в черных париках с густыми волосами, облаченные в черные одежды, концы которых уложены вокруг них колоколом, сидят на авансцене лицом к зрителям. Они напоминают два зловещих неподвижных холма. Особенно Менелай, который во время долгих упреков Агамемнона смотрит, не мигая, на публику, а не на брата.

Время и нерешительность Агамемнона на стороне Менелая. Глашатай объявляет о прибытии Клитемнестры и Ифигении. Слыша это, старый слуга падает на пол. У Эврипида Менелай уходит, у Мнушкин он отходит к скамье справа в глубине сцены, а Агамемнон, соответственно, к скамье слева. Там они и остаются, погруженные в мрачное раздумье, в позе восточных воинов. На авансцене глашатай, одетый в белое. Он говорит о приближении посвящения Ифигении Артемиде, для чего, как он думает, устраивается свадьба Ифигении. Кружась в коротком танце, он приближается к флейте, которая обрывает взволнованную музыку струнных в этой сцене.

Это слишком для Агамемнона. Он приказывает глашатаю удалиться и выходит вперед на авансцену, ближе к подвижной площадке. Эта площадка очень эффективно используется в спектаклях. Она установлена на колесиках, позволяющих незаметно приближать ее плоскость к краю сцены. Площадка отнюдь не играет роль «деус экс махина», но ее кажущаяся неподвижность и возможность только однолинейного движения чрезвычайно подходят для этих спектаклей, в которых судьба играет решающую роль.

После того, как глашатаю приказано удалиться, Агамемнон падает на авансцену, как и слуга до него, головой вперед, раскинув руки, лбом касаясь пола. Менелай подходит к нему и садится рядом. Хор, молча стоящий за стенами, теперь, позвякивая украшениями, спешит на авансцену, чтобы все рассмотреть. Видя свое преимущество, Менелай произносит длинную речь, говоря, что передумал и повторяя аргумент самого Агамемнона не приносить в жертву свое дитя для такой женщины как Елена. Половину своей речи он произносит стоя над братом. Как он и предполагал, Агамемнон тоже передумал.

Если Агамемнону не удастся выполнить свое обещание перед греческим войском, честолюбивый Улисс принесет в жертву Ифигению и, думает Агамемнон, победит и его самого. В этот момент придвигается площадка и братья заходят на нее. Агамемнон ложится, принимая позу, в которой он был во второй половине сцены, а Менелай стоит над ним, держа в руках перехваченное им письмо брата к Клитемнестре.

Следующие затем такты музыки, оркестрованной для струнных и духовых инструментов, построены на восходящих четвертях и пятых и нисходящих третей в миноре. Это почти павана. Танец исполняется медленными круговыми движениями и полон жестов, выражающих страдание: голова и кисти рук танцовщика сначала откинута назад, потом голова наклоняется вперед, а плечи приподняты и неподвижны.

После выступления Хора эта музыка сменяется обрядовой темой, исполняемой на персидских барабанах и на всех струнных (турецкие инструменты малого и среднего размера, группы люгневых ассоциируются соответственно с Ифигенией и Клитемнестрой). Открываются центральные ворота и двери, показывая мать и дочь на почти двухметровом возвышении, убранном белым шелком. Обрамляя эти фигуры, по бокам висят желтые шелковые занавеси. Все это напоминает летящий вперед корабль, от движения которого занавеси слегка колышатся.

Ифигению играет индийская актриса и танцовщица Ниру Нитьянандан. Она невысокого роста. Одета в желтую без рукавов тунику поверх белой блузы и рейтузы, доходящие до колен, она сидит на краю площадки, свесив ноги, как ребенок на слишком большом стуле, и изумленно смотрит на торжество в свою честь. Роль Клитемнестры исполняет бразильская актриса и танцовщица Жулиана Карнейро да Куна. Облаченная в желто-черные одежды, она стоит и смотрит на свою дочь с любовью и гордостью. Обе они отличаются от Хора и других героев простыми костюмами с минимумом украшений.

В сцене встречи Ифигении с отцом происходит усиление трагической иронии происходящего. Это видно по тому, с какой решимостью Ифигения выражает свою безудержную любовь к нему. Эта любовь углубляет трагедию ее положения. Ифигения видит приближающегося Агамемнона (он входит из зрительного зала). Извинившись перед матерью, она вскакивает и сбегает по той стороне площадки, которая не видна зрителю, чтобы «броситься в объятия отца». Они вдвоем снова появляются на сцене: дочь висит у отца на шее, обхватив его ногами за пояс. Это выглядит по-детски, особенно если принять во внимание очень высокий рост актера Симона Абкарриана, исполняющего роль Агамемнона. Но некоторое время спустя, когда Ифигения сидит на сцене между его раздвинутых ног (поза восточного воина на мгновение сменяется позой любящего отца), она

нежным движением проводит рукой по своей шее — это тонкий намек молодой женщины. Затем, когда Агамемнон говорит, что он должен совершить жертвоприношение в Авлиде, она представляет себя танцующей вокруг алтаря. Сама мысль об этом поднимает ее на ноги, приводит в движение руки, и по изяществу ее внезапного чувственного танца мы понимаем, что в ней рождается женщина. Это обостряет ее трагедию. Агамемнон почти разбит в этот момент, и приказывает ей удалиться. Но ему удастся скрыть свои намерения от Клитемнестры во время продолжительного разговора с ней, которым заканчивается эта сцена. Клитемнестра не догадывается даже тогда, когда Агамемнон приказывает ей вернуться в Аргос, приказ, которому она отказывается повиноваться.

Клитемнестра узнает о действительных планах Агамемнона позднее, во время случайной встречи с Ахиллом. Ахилл, роль которого также исполняет Симон Абкариан, это карикатура на воина-героя, каковыми предстают Менелай и Агамемнон. Он поражает своей воинственной позой (именно в таком виде он появляется на движущейся площадке), но на самом деле он — щеголь, в котором нет ни капли мужества. На нем одеяние из красного бархата, отделанное черным и расшитое золотом. На голове черная облегающая шапочка с золотыми кольцами по краям, кольцами, которые скорее годились бы в качестве серег. Красные губы сложены в тонкую линию на бледном лице и, пораженный красотой Клитемнестры, он смотрит в небольшое зеркальце, висящее на поясе.

Когда Клитемнестра упоминает о приближающейся свадьбе, он, конечно, ошеломлен. Затем входит старый слуга и говорит им обоим о приближающемся жертвоприношении. Клитемнестра не верит, поворачивается сначала к слуге, затем бросается к Ахиллу, прося совета и заступничества. Тот выражает глубокое сочувствие и клянется, что Агамемнон не дотронется до Ифигении. Но его обещание ни к чему не приводит, и отчаявшаяся Клитемнестра в следующей сцене более находчива. Получается, что сама одежда трех главных персонажей предлагает направление хода событий этой сцены и всей пьесы. Агамемнон, облаченный в красные и золотые родовые регалии поверх своей черной одежды, сидит на низкой скамье на авансцене со скипетром в руке и смотрит в зал. Клитемнестра, а также Ифигения, которая появляется вслед за матерью, обе — без своих золотистых одежд, образно говоря, раздеты. Мать — в черном, дочь — в ритуально белом.

Итак, вторая решительная схватка Агамемнона с самим собой начинается, когда Клитемнестра говорит, что ей стали известны его намерения. Он признается, всхлипывая, затем замолкает. Она доказывает, как ранее Агамемнон Менелая, что было бы несправедливо выкупать «ненавистную» Елену, жертвуя ребенком, «которого мы больше всего любим». Но Агамемнон уже неумолим. Клитемнестра взывает к его чувствам, угрожает, доказывает. Ничего не помогает. Наконец, она просит его пожалеть Ифигению или, хотя бы, нарушить молчание и отве-

тить ей. Хор, наблюдающий за этой сценой из-за стен, повторяет мольбу. В ответ Агамемнон безмолвным жестом отталкивает жену.

Одна из сильных сторон режиссера Ариадны Мнушкин в том, что она чувствует такие жесты и согласует их с ритмом всей сцены. Таких моментов много в греческих спектаклях, особенно в сопоставлении отца, матери и дочери. Клитемнестра побеждена. Теперь очередь Ифигении. Видимые контрасты между ее мольбой и свиданием с отцом — одни из наиболее трогательных в спектакле. Клитемнестра поднимает Ифигению со скамьи, где та безжизненно слушала не принимаемые во внимание мольбы своей матери, и, нежно обняв, ведет к отцу. Дочь спотыкается на каждом шагу. Затем на подпути мать легонько подталкивает ее, показывая, что дальше она должна идти одна. Ифигения на мгновение замирает, затем собирается с силами и решительно шагает вперед. Она становится на колени перед Агамемноном и молит о жизни. Он не отвечает. Она пытается проползти между его ног. Но он сдвигает ноги. Слуга из Халкиса подбегает к ней с маленьким Орестом. Агамемнон отворачивается. Ифигения умоляет взглянуть на нее, пытается обнять отца. Он отталкивает ее.

Наконец Агамемнон говорит. Он любит своих детей. У каждого есть надежда. Но он сразу же отгоняет ее. Выбора нет. Если он не выполнит приказание оракула, волю всей греческой армии, то их всех уничтожат. Кроме того, армия пойдет на Трою. Греки не могут допустить, чтобы варвары захватывали их жен и оставались безнаказанными. Провозгласив свою позицию, Агамемнон встает. Ифигения цепляется за его одежду, но он покидает авансцену, оставляя ее распростертой на полу. На сцене остаются распростертые фигуры Клитемнестры и солистов Хора. Они безмолвно дрожат.

И, наконец, поднимается Ифигения. Она начинает длинный поэтический плач, который исполняли в древнегреческом театре. В спектакле этот плач декламируется под музыку и сопровождается танцем с грациозными движениями и жестами Бхарати Натиам. Кружась в танце во время интерлюдии, Ифигения замечает солиста Хора, который танцует сзади. Сначала она ощущает ужасное одиночество, а затем прилив энергии и даже радости. Но во время второго круга она видит, что мать лежит на полу и ее снова охватывает страх и печаль. Актриса и танцовщица Нирупам Нитианандан передает целую гамму чувств: отчаяние, решимость, мужество, беззащитность... Ее игра глубоко прочувствована и в высшей степени убедительна.

Дальше события развиваются вокруг Ифигении. Возвращается Ахилл и объявляет, что, когда он предложил пощадить Ифигению, армия закидала его камнями. Клитемнестра хватает дочь за руку и они убегают к задним воротам — но ворота закрыты. Тогда Ифигения останавливается, успокаивает мать и покоряется судьбе. Она решила умереть. Благородно и славно. Она полностью приняла героическую этику своего отца и повторяет его аргументы о том, что варварское насилие против Греции невыно-

симо. Клитемнестра молчит. С этого момента она становится ребенком, а Ифигения — ее матерью. Клитемнестра встает на колени перед Ифигенией, запрещающей ей оплакивать свою смерть, и обещает повиноваться. Но когда Ифигения отказывает ей в просьбе сопроводить ее к жертвенному алтарю, Клитемнестра обхватывает дочь за талию и испускает мучительный крик, заранее подготавливая нас к «Агамемнону»: «Не оставляй меня одну».

Ифигения отдает приказание начинать ритуальные приготовления для своего жертвоприношения и, пока она это делает, в воротах без занавесей появляется площадка, на которой лежит подушка. Эта площадка может служить как алтарем, так и могилой. Клитемнестра бросается площадке наперерез, но солист Хора резко отталкивает ее. Она падает на пол, где и остается до конца спектакля.

Хор начинает энергичный танец на традиционную турецкую торжественную тему, которую композитор спектакля переложил для инструментальной группы лютневых, флейты и барабанов. Ифигения присоединяется к Хору, становится ведущей и танцует с неистовой энергией. Танец превращается в танец смерти — бешеный, эротичный, незабываемый.<sup>4</sup> На повороте Ифигения неожиданно замечает, что площадка находится как раз за ней и, потрясенная, падает. Потом она встает и взбирается на самый верх площадки. Сквозь барабанную дробь и звуки флейты слышатся низкие звуки деревянных духовых инструментов: это дыхание Артемиды. Ифигения прощается с «любимым светом».

Площадка на колесах проходит в ворота и скрывается из вида. Солист Хора выходит вперед и исполняет горестный плач о ней, о ее «прекрасной окровавленной шее» и презрительно говорит о «высокой славе... незабываемой славе» Агамемнона.

И вот горькая ирония. Входит глашатай в забрызганной кровью белой одежде и рассказывает о том, что произошло в лесу Артемиды. Ахилл приблизился к алтарю, моля богиню принять жертвоприношение Ифигении. И в момент ее смерти неожиданно появился прекрасный олень, которого, казалось, богиня предпочла в качестве жертвы. Весть об этом адресована Клитемнестре, но она словно не слышит и произносит свое последнее горестное четверостишие не подняв головы от пола. Когда появляется Агамемнон, чтобы тут же отправиться в Трою, а также пожелать ей благополучного возвращения домой, она, кажется, даже не понимает, что он здесь. Спектакль заканчивается горестным прощанием Хора:

Счастливого тебе пути, Атрид, во фригийскую землю

И счастливого возвращения.

Раздобудь мне в Трое самые красивые одежды.

Все действие сопровождается коротким ритмическим танцем под аккомпанемент ударных инструментов. Солист Хора с возгласами покидает сцену. Гаснет свет над одинокой фигурой Клитемнестры.

Издали доносится лай собак. Приближается время отщепенца роду Атрея.

Ариадна Мнушкин согласна с Эврипидом в его иронической оценке и горьком осуждении Троянской войны, но не принимает его ироническую отстраненность от Клитемнестры. У Эврипида последняя убивается больше по себе, чем по Ифигении. В спектакле же смерть дочери превращает в жертву и саму Клитемнестру. Таким образом, «Ифигения в Авлиде» становится не просто спектаклем по Эврипиду, а скорее прелюдией к следующей постановке — «Орестея».<sup>5</sup> Во всех трех спектаклях Мнушкин представляет Клитемнестру как героиню,<sup>6</sup> решительную женщину в мире *vasci llating* мужчин. Такая интерпретация, несомненно, находит подтверждение и в тексте Эсхила (Хор в спектакле «Агамемнон», Эгаст), и у Эврипида. Кроме того, это желание режиссера показать судьбу женщин Древней Греции и некоторых современниц — судьбу «жертв, жертвенных животных. Или врагов».<sup>7</sup> Но не совсем справедливо показывать карикатурно трусость Ахилла, например, не взглянув критически на самопоглощение Клитемнестры. И все же постановка Мнушкин настолько искусна и Жулиана Карнейро да Куна так неотразима в роли Клитемнестры, что зритель будет чувствовать эту симпатию к образу и в спектакле «Агамемнон».

<sup>1</sup> Мнушкин решила сделать новый перевод текста для своих спектаклей. Она надеялась, что новый перевод сможет расчистить те наносы, которые она приписывала работе цензоров и издателей на протяжении трех столетий.

<sup>2</sup> Эти двери открываются на голубого цвета стену театрального здания, образующую задник сценической площадки.

<sup>3</sup> Перевод выполнен французским эллинистами Жаном и Мейотом Боллаками и опубликован издательством «Editions de Minuit» в 1990 году.

<sup>4</sup> Перед самой премьерой «Ифигении в Авлиде» Ариадна Мнушкин говорила о трудности совмещения тех крайностей, которые современная культура противопоставляет друг другу. Режиссер наблюдала, что актеру очень трудно чувствовать одновременно и ужас, и удовольствие, а в роли Ифигении — с воодушевлением принять идею смерти. («Le Figaro» 13.11.1990). Существование радости и ужаса в спектакле было высоко оценено французской прессой.

<sup>5</sup> Мнушкин считает, что нельзя по-настоящему понять «Орестею», «если не знать, что произошло в Авлиде...», то есть: Клитемнестра, звук ножа на горле Ифигении». («Le Figaro» 13.11.1990 г.).

<sup>6</sup> То, что происходит на сцене подкрепляется двумя замечаниями, сделанными Мнушкин вне сцены. В одном из интервью в ноябре 1990 года она описывает Клитемнестру, как замечательную личность, и хочет, чтобы зритель полюбил и понял эту героиню. («l'Invité de vendredi», 09.11.1990). Ключом для роли Клитемнестры, преисполненной ярости и мести, послужило объяснение Ариадны Мнушкин во время репетиции: «У нее отняли дочь. Она имеет право на все, что угодно». (Интервью с Жулианой Карнейро да Куна 14.05.91).

<sup>7</sup> «Passion», 1990, 10, с. 23; см. также «7A Paris», 14-20 11. 1990 н., с. 19, «Politics», 22-28 11.1990.

Перевела с английского Надежда Иванова  
Продолжение статьи в следующем номере.

Кубики льда, запах духов, тафта, ламэ, ухоженные руки, украшенные драгоценностями, голоса:

Шарлотт Тэг? Какой кошмар!

Хотя, может быть, для нее так было лучше.

Все равно, она никогда уже не смогла бы играть на своем инструменте.

И невозможность говорить, двигаться —

Я где-то читала — скорее всего, это было интервью с Бэйшивсом — что ее глаза, когда она слушала, отвечали на все, даже —

Ты был на том концерте?

Да, как и многие. Только когда толпа сдвинулась с места, я понял, что все уже закончилось.

Так, значит, ты ничего не видел?

Я видел море людских спин. А что? О чем ты говоришь?

О Бэйшивсе.

Да, он был там.

Ведь она была его женой —

Но он недолго жил с Шарлотт.

Я слышала, что он снимал квартиру в городе только для того, чтобы быть ближе к Вандивер Холлу. И это, пожалуй, было разумно. Он засиживался за работой допоздна. Тем более, что их загородный дом был рядом, всего в нескольких милях отсюда. Лично я не хотела бы, чтобы кто-нибудь музицировал в моей комнате.

Да, Бэйшивс просто одержим музыкой, не так ли? У него никогда нет времени на что-нибудь другое —

Люди всегда говорят о тех, кто кажется им значительнее, чем они сами — Так что же случилось на концерте?

Когда первые ряды поднялись, направляясь к выходу, я увидел Дона Морриса, ведущего под руку Бэйшивса. Потом Бэйшивс зашатался, и если бы Дон Моррис не поддержал его вовремя, все закончилось бы гораздо хуже. Но я, кажется, это уже рассказывал.

Наверное, он очень устал.

Довольно необычно для мужчины — любить свою жену —

Возможно, но мы говорим о Бэйшивсе.

Помимо того, что Шарлотт была талантливейшей арфисткой, она была еще великодушным и сердечным человеком. Говорили, что только Бэйшивс мог сделать ее счастливой —

Так всегда говорят.

Он ужасно выглядел на концерте.

Работа допоздна в Вандивер Холле? Или, быть может, он чувствовал за собой вину? Хотя я не думаю, что чувство вины входит в его репертуар.

Но ведь он же не робот, ты это прекрасно понимаешь —

Он ничего не видит, кроме своей музыки.

Но когда Шарлотт и Джэйкоб первый раз пришли сюда, мне казалось, они были счастливы —

Они просто улыбались для прессы.

Но мне на самом деле казалось так. Помню, я им еще позавидовала тогда. А потом...

## Вандивер Холл — Январь

Обрывок газеты, подгоняемый ветром, плясал на блестящем от дождя тротуаре, минуя витрину дешевого магазинчика с запылившимися манекенами, гараж, закусочную, Вандивер Холл. Выщербленный портик концертного зала, его посеребрившие колонны с опавшими дубовыми листьями на неокоринфских лепных украшениях.

Административный коридор, виднеющийся сквозь небольшую дверь, примостившуюся рядом с билетными кассами, тянется сквозь два больших здания, недавно соединенных вместе. Кто-то пробует тимпан, и в сторону плохо освещенной комнаты, из которой доносится неясный шум, направляется худощавый молодой человек, чей внешний вид напоминает гобой, который он держит в руке. Вслед за ним спешат два скрипача.

Прокуренный голос, доносящийся из приоткрытой двери одного из кабинетов: «Скажите мистеру Трежере-Сер, что это Дон Моррис из Хайсвилльского оркестра. Мне нужны деньги. Да...о, да, я полностью убежден в том, что эти правители не заботятся о подобных вещах. Но не беспокойтесь, о духовных материях для вас позаботимся мы. Только не давайте нам опускаться. Да, это правда, как раз сейчас мы занимаемся реконструкцией исторического района. Мы называем его «историческим районом.» И должен вам сказать, мы решительно настроены здесь, в Хайсвилле —»

За плотно закрытой дверью студии прозвучала сирена. Тимпаны мягко загрохотали.

«Скажите мистеру Гамби, что Дон Моррис будет ждать его звонка. Да, мэм. Или, может быть, он захочет говорить с Эйлин Вилиерс. Как ему будет угодно. Да, Вилиерс. Что? Сенатор Вильямс Вилиерс ее муж? Эйлин наш финансовый директор. Очаровательная лэди.»

В строгом твидовом костюме, в блузе с пышным воротничком, с жемчужными гвоздиками в ушах, слегка припудренная, Эйлин Вилиерс, с непринужденной улыбкой на накрашенных губах, мчалась по коридору. Капли дождя еще не высохли на ее каштановых волосах, выбивающихся сзади из-под шиньона.

Не замедляя шага, она легонько постучала в приоткрытую дверь Дона Морриса — только для того, чтобы поприветствовать его — переложила букет хризантем в левую руку, плавно завернула за угол и чуть не сбила с ног двух молодых женщин с кларнетами в руках.

«Да уж, богатая, но слишком рассеянная,» — пробормотала одна из них.

Ее спутница пожалала плечами: «В ее возрасте деньги уже значат нечто другое.»

«Послушай-ка, это между нами,» — Дон Моррис снова засел за свой телефон. — «Но если Гамби и дальше так будет себя вести, то я быстро его пошлю ко всем чертям. Неужели вы там не понимаете, что Джэйкоб Бэйшивс — композитор с мировым именем? Пресса признала его, ты знаешь об этом? Бэйшивс это наш дирижер, в Хайсвилле. Бэйшивс. Б-Эй-Ш... Послушай, журналисты знают, как пишется его фамилия.»

Эйлин Вилиерс открыла дверь с надписью «Финансовая дирекция» и плотно притворила ее за собой.

Маленькая, полная женщина сидела за письменным столом с табличкой «Эйлин Вилиерс, финансовый директор.»

«Доброе утро, Бэт!» — Эйлин приветливо улыбнулась ей. — «Сегодня ты решила забросить свою арфу и занять мой стол?» Она открыла обитый железом шкаф, быстро убрала свой зонтик и достала слегка запылившуюся хрустальную вазу. «Я прекрасно понимаю, как ненавистна тебе твоя арфа в такую мерзкую погоду. Ужасный понедельник! А цветы очаровательны, правда? Я купила их на углу, у цветочницы. Продавать цветы под проливным январским дождем! Поразительная стойкость!» И она прикинула, как букет будет смотреться в вазе. «Погляди-ка, они осыпаются!» Она весело рассмеялась, стряхивая со своего пиджака белые лепестки хризантем. «Тем не менее, я их не выброшу. Я обожаю этот запах. К тому же, весь аромат в листьях, а не в лепестках, правда?» И она мельком взглянула на Бэт, как бы ища у нее поддержки. «А как ты провела уик-энд?»

Бэт нахмурила брови, ее глаза сверкали, словно осколки стекла.

«Ну вот», — тихо сказала Эйлин, усаживаясь в кресло для посетителей. — «Что случилось?»

«Ты одна пребываешь в счастливом неведении, Эйлин. По-моему, все уже знают.»

«В счастливом неведении?» — Эйлин улыбнулась. — «Ну, Бэт, мы же с тобой подруги. Близкие подруги. Коллеги, наконец. Что все-таки произошло?»

Кусая губы, Бэт пристально смотрела на Эйлин. Потом она глубоко вздохнула, закрыла на мгновение глаза и, наклонившись вперед, принялась выстраивать в аккуратные ряды скрепки, лежавшие на подставке для чернил. «Я должна тебе что-то сказать, Эйлин. Джэйкоб Бэйшивс женат на одном из самых великодушных созданий на земле. Он, может быть, и не догадывается об этом, но уж ты-то, по крайней мере, прекрасно это знаешь —»

Длинные белые пальцы Эйлин нервно сжимались. «Прости, Бэт. Шарлотт была твоим учителем, твоим наставником. Я знаю, ты любила ее —»

«Люблю, Эйлин. Она же не умерла.»

«Конечно, ты не можешь знать, какой женой она была раньше. Никто не может судить об этом. Но теперь все ясно, тем более, что склероз прогрессирует...»

Какое-то время обе женщины молчали, сидя за письменным столом. Скрепки тихонько и ритмично постукивали по подставке, выстраиваясь в ряды, потом все с легким шумом сметалось и начинался новый ряд — цок-цок-цок...

«Мне кажется,» — тихо сказала Эйлин, — «что он одинок.»

«Конечно,» — Бэт улыбнулась, — «и всегда будет. Думаешь, Эйлин, ты спасла его? Думаешь, только потому, что вы вместе, Джэйкоб больше не будет одинок? Ну, ну —»

«Я не понимаю, почему тебя так задевает то, что я... Шарлотт, даже если бы у нее хватало сил заботиться о нем, не знала бы и не должна была бы знать об этом.»

Бэт медленно провела рукой по своим пепельным волосам, нервно сжала ладонями виски. «И тем не менее, Эйлин, Шарлотт знает. Джэйкоб рассказывает ей все, абсолютно все, Эйлин. Она знает каждый его шаг. Он доверял ей все в течении двадцати с лишним лет совместной жизни. Она понимает его музыку так, как нам с тобой никогда не понять.» Бэт наклонилась над столом и вновь взялась за скрепки.

«Если Шарлотт его так любит, если она полностью его понимает, чего ж ты так беспокоишься за нее?»

«Беспокоюсь за Шарлотт.» Бэт сухо улыбнулась. «Эйлин, я беспокоюсь за тебя.»

Цок, цок, стоп.

«Спасибо. Мне 42 года и я как-нибудь да справлюсь со всем сама.»

«Ты не поняла, Эйлин. Я хочу сказать, что если бы ты просто изменяла мужу, тогда другое дело. Ты замужем вот уже 19 лет — лучшего оправдания измены и вообразить нельзя. Но ты ни разу, я уверена, ни разу ему не изменила. И если бы ты не думала, что это любовь, Эйлин, ты бы так не мучилась.»

Дождь непрерывно стучал в окно. Где-то совсем рядом прозвучало «Доброе утро», адресованное кому-то невидимому. Звуки виолончели то затихали, то вновь становились громче, по мере того, как закрывалась и открывалась дверь студии. Из коридора доносился звук удаляющихся шагов.

«Джэйкоб всегда будет одинок, Эйлин. Когда ты слушаешь его музыку, тебе кажется, что ты слышишь нечто упущенное тобой ранее, то, что ты начинаешь понимать только сейчас. Но все, что ты слышишь, Эйлин, означает лишь то, что дом пуст. Бэйшивс так поглощен слушанием музыки, что не заметил бы и человека, умирающего у его ног. Он не заметил бы и тебя, Эйлин.»

Эйлин, помолчав, улыбнулась. Она улыбалась, глядя на аккуратно выложенные ряды скрепок, на почту, наваленную на ее столе, на картотеку, на хризантемы. «Ладно, Бэт, мне надо работать.»

Бэт Пэмбертон поднялась с ее кресла. Эйлин, взяв со стола ножик для разрезания конвертов, принялась точными, энергичными движениями вскрывать утреннюю почту.

«Кстати, Бэт, по поводу завтрашнего ланча с Хью Махони —»

Она услышала, как хлопнула дверь кабинета.

## Декабрь

Дон Моррис перебирал фотографии, предназначенные для афиш 39-ой симфонии Моцарта, стараясь лучше рассмотреть на этих черно-белых снимках потухшие глаза Бэйшивса. Обычно они выделялись на лице дирижера, как выделяется пламя свечи в темноте. Но, судя по фотографиям, кто-то задул эти свечи.

Роза, новый администратор Джэйкоба, медленно вошла в кабинет, негромко стуча высокими каблучками по линолеуму. Она была очаровательна, эта девушка — рост картин Леонардо да Винчи, глаза с полотен Эль Греко, рафаэлевская фигура. Округлые формы и густые черные волосы, ниспадающие на плечи. Ее сильные пальцы пианистки теперь должны были возиться с бумагами. Бедняки не вытирают.

«А, Роза, доброе утро,» — живо начал Дон Моррис. — «Что-то рановато сегодня.»

«Ты сегодня в прекрасном настроении,» — спокойно ответила Роза. Не сказав ничего более любезного, она, еще не сняв пальто, с раздражением принялась за кипы бумаг, скопившиеся за время ее отсутствия.

«Ты права,» — продолжал Дон Моррис. — «но, сейчас, между прочим, ровно 9.45, а мы обычно начинаем около половины девятого.»

«Обычно мы уходим домой около пяти часов,» — парировала Роза холодным, безразличным голосом. Стоя спиной к нему, она бегло просматривала бумаги на своем рабочем столе.

«Да, понимаю... Извини за любопытство, Роза, но во сколько ты вернулась домой вчера вечером?»

«В 12.17. Сегодня ночью.»

Дон Моррис вытащил из кармана рубашки сигарету. «Мы, в Хайсвильском оркестре,» — торжественно начал он, легонько постукивая сигаретой по подошве ботинка, — «всегда были подвижны... нашим... высоким призванием...»

«Уж вы-то точно,» — ответила Роза с мягкостью в голосе, — «но только не я. Я хочу попросить перед Рождеством недельку отгула. Ведь Бэйшивс же не планирует никаких специальных выступлений перед праздниками?» Роза обернулась с явным намерением озадачить своего коллегу пристальным, многозначительным взглядом, но вместо этого ее потускневшие глаза приняли извиняющееся выражение. «Мы так много записывали последнее время,» — слегка оправдывалась она. Какой-то пожелтевший лист соскользнул с верха перекладываемой ею стопки бумаг и, плавно кружась, опустился на пол. «Страницы и страницы прекрасной, жизнеспособной музыки. Все это наполнено тем неповторимым духом, который свойствен всей музыке Джэйкоба Бэйшивса. Но ни одна из них не может раскрыть полностью то, что думает композитор, то, что он хочет сказать,» — ехидничала она.

«Господи, да он ничего не хочет сказать, Роза,» — Дон не совсем понял иронию. — «И не надо, ради Бога, выискивать этот спрятанный повсюду тайный смысл,» — не сдержался он. — «Тайный смысл не спрятать. Его просто нет.» Дон закурил.

«А как ты думаешь, Бэйшивс благодарный?» — не унималась Роза.

«Я только что встретила его по дороге. Я ему сказала «Доброе утро», а он посмотрел на меня так, словно меня вообще не существует. Несомненно, он был очень вежлив...»

«...он был задумчив...»

«Тем не менее...»

«Ты же знаешь, Роза, что Джэйкоб очень поглощен самим собой.»

«Нарцисс. Настоящий Нарцисс. Кстати, а где биография? Я нашла все, кроме дирижерской биографии. Может быть, обойдемся без нее? Все и так все знают благодаря стараниям миссис Пэмбертон,» — Роза, неестественно изогнувшись, подняла упавший лист. — «Бэйшивс и его жена, известная всему миру арфистка Шарлотт Тэг, покинули свой дом в Париже, покинули Францию для того, чтобы...» и пошло-поехало... Вот, полюбуйся, биография валяется посреди счетов! Да в добавок еще и с пятном кофе. Какая неблагодарность!» Автор более 12 крупнейших произведений, делающих ему честь —

«честь», так и написано — Бэйшивс всемирно известен как выдающийся олух, который поверит всему, что бы Бэт Пэмбертон ни понаписала про него.»

«Это Бэт Пэмбертон написала его биографию? Бессовестная ложь!»

«Ты всегда нервничаешь, когда слышишь о чужой славе?»

«Я никогда не нервничаю, Роза, я пью валиум.»

«Но ведь Джэйкоб на самом деле вовсе не знаменит. И если бы тебе поручили составить подобный анонс...»

«Роза, не одолжить ли тебе валиума?»

«Послушай, Дон, это же глупо, в конце концов. Бэйшивс убивает сам себя, не говоря уже о том, что он даже меня заставляет работать по ночам, и все это для того, чтобы создать этот маленький шедевр. Замечательно! Но кому все это надо? Потомкам? Но потомки — это кто, черт возьми?»

Опираясь о письменный стол Дона, Роза слегка наклонилась вперед. Он старался не смотреть на нее.

«Кому это, черт возьми, надо?»

Роза на мгновение закрыла свои прекрасные глаза, состроила гримасу и продолжала: «Но ведь он рано или поздно умрет... Хотя это мое чисто субъективное мнение. Может быть, он марсианин или... я не знаю...»

«Что-нибудь еще, Роза?»

С беззлобным раздражением Роза взяла его сигарету и затянулась.

«О'кэй, больше ничего. Это фотографии для программы? Неплохие. Хотя Джэйкоб здесь похож на чахоточника. Мы вполне можем повысить цены на билеты и назвать все это благотворительным концертом —»

«Люди подумают, что это для Шарлотт.»

Роза поморщилась. Она взглянула на него, стараясь как можно лучше выразить на своем лице искреннее сожаление.

«Роза, ты, по-моему, ужасно устала, едва начав свой рабочий день. Наверно, у тебя низкий гемоглобин? В любом случае, ты действуешь на меня угнетающе. Почему бы тебе, скажем... не взять несколько уроков... по энергичности... или что-нибудь вроде этого?»

«Уроки по энергичности? И у кого же, например?»

Он пожал плечами. «Ну, например, у Эйлин Вилиерс. Чему бы она там ни училась последнее время, это чудесным образом сказалось на ее фигуре, тебе не кажется?»

«Не похоже на то, чтобы она покупала секрет своей красоты у Ревко.»

Дон Моррис взглянул на Розу как раз в тот момент, когда ее лицо находилось против света.

«Тогда где же она его покупает?»

Но Роза уже направилась к двери. «Роза? Роза!» — позвал он, но было поздно. Дверь эффектно захлопнулась.

Оставшись один, он докурил свою сигарету. На фильтре оставалась ее помада. Он лениво взялся за фотографии. Вот — задумчивый Джэйкоб, как будто он сосредоточенно рассматривает что-то в левом нижнем углу. Но там ничего нет. Он просто черный.

## Ноябрь

Эйлин на кухне, бормоча что-то, заваривала чай. В гостиной Бэт Пэмбертон, скинув туфли, удобно устроилась в большом мягком кресле напротив места хозяйки и включила небольшую лампу с абажуром из граненого хрусталя, стоявшую на столе.

Старинные немецкие часы Эйлин отсчитывали минуты 236-го года своего существования. Этот день казался бесконечным... Джэйкоб репетировал 4-ую Малера с видом невыразимого страдания, который так сбивает с толку новичков... еще и еще, острые, как лезвия ножей звуки. А на концерте обязательно кто-нибудь захлопает не вовремя, приняв паузу за конец произведения, и начала следующей части не будет слышно за всеобщим громким шиканьем... Сколько уже Бэт пыталась задать этот вопрос? Наверное, не одну неделю. Последний раз, когда она заговорила об этом, Эйлин прекрасно все поняла, но затем они непонятно как перешли на другую тему. Они почему-то заговорили о Марионе, второй виолончели в оркестре, родившей мертвого ребенка. Каким образом этот мертворожденный проник в их беседу? И в этом была вина не только Эйлин...

Бэт задумалась, глядя на пустое кресло Эйлин — старинное кресло с высокими подлокотниками, с обивкой, украшенной вышитым орнаментом — придвинутое к столу работы конца 19-го века. На крышке стола была инкрустация в форме цветов, выполненная из лимонного дерева, груши, тиса, самшита. Один из выдвинутых ящиков слегка покосился, да и сам стол выглядел довольно непрочным. В течение последних девятнадцати лет Бэт, каждый раз приходя сюда, думала, что он вот-вот развалится. Бэт помнила, как однажды, несколько лет назад, она была шокирована предложением Эйлин поставить пепельницу на стол и с какой осторожностью она потом весь вечер стряхивала пепел. Но столу хоть бы что. За два века своего существования он успел многого насмотреться — Французская Революция, кот Эйлин — но, несмотря на все эти испытания и на свой возраст, он все еще неплохо выглядит.

Эйлин вернулась, держа в руках поднос с большим и маленьким чайниками и с двумя чашками. Фарфоровые чашки, украшенные перламутровыми хризантемами, были привезены ее бабушкой из Китая. Она поехала туда как Пресвитерианская миссионерка, а вернулась назад поклонницей Конфуция. Эйлин очень любила эту историю, но она совершенно не старалась сбересть эти чашки для потомства. Вполне вероятно, что она даже не замечала того, что по некоторым из них уже поползли зловещие трещины.

Эйлин, последовав примеру Бэт, сняла туфли и распустила свои длинные каштановые волосы. Бэт, подождав пока она поставит поднос, сказала:

«Тебе так очень идет.»

«Что?»

«Тебе так очень идет,» — отчетливо повторила Бэт. — «С распущенными волосами. Последний раз я видела тебя с распущенными волосами, по-моему, тогда, когда я мыла тебе голову после операции —»

«Это было сто лет назад!»

«По крайней мере, одиннадцать-то уж точно. Я бы купила у тебя твой секрет ухода за волосами. По-

том бы я его выгодно перепродала. Эйлин, что ты делаешь с волосами?»

«Ну... я их мою...» — Эйлин рассмеялась.

Она налила себе и Бэт крепкого зеленого чая, немного подвинулась вперед в своем кресле и улыбнулась, вдыхая свежий аромат напитка. Ее гладкая белая кожа ничуть не стала хуже за девятнадцать лет. Бэт отметила про себя, что Эйлин выглядела лучше всех среди тех уже немолодых женщин, которых Бэт когда-либо встречала.

«А когда Билл возвращается из Колумбийского округа?» — спросила Бэт.

«Кто?»

«Билл.» Бэт наклонилась над столом и отпила свой чай. «Твой почтенный муж.»

«Я точно не знаю, когда он собирался,» — Эйлин пожалала плечами и копна ее мягких волос на мгновение задержалась на ее плечах.

«Я думаю, они там отменяют какие-то законопроекты или что-то в том роде.»

«Складная история,» — улыбнулась Бэт.

«Куда ни шло...»

«Ты уже вряд ли когда-нибудь поедешь в Колумбию, Эйлин.»

«Да уж, с моей работой в оркестре...»

«По крайней мере, эта работа оплачивается лучше, чем работа жены сенатора —»

«Это уж точно.»

«Значит, Билл может и не вернуться до концерта,» — предположила Бэт.

«Глумаю, что да. Я и не подумала об этом.» Она разглядывала лампу, стоящую на каминной полке. «Да, ты права. Присутствие сенатора нам необходимо. Мне, пожалуй, надо будет позвонить ему.»

Сказав это, Эйлин вдохнула приятный аромат чая. Эразм, кот, которого она подобрала недавно около гаража, вскочил к ней на колени. Подергивая своим ободраным левым ухом, кот, недолго думая, свернулся клубком. Она рассеянно поглаживала его, стараясь не касаться тех мест, на которых его шерсть уже никогда не вырастет.

«А...» — начала было Бэт, но потом замолчала. Зеленые глаза Эйлин рассеянно смотрели поверх чашки.

Бэт привсталла, налила себе еще чаю. Она старалась вспомнить: видела ли она еще когда-нибудь, как Эйлин плакала, кроме как в тот вечер, после концерта. Может быть, когда умер ее отец? Но Бэт была рядом с ней и на кладбище и после, уже дома. Глаза Эйлин тогда были лишь едва влажными. Она тщательно скрывала свои эмоции из уважения к гостям. Да и в тот вечер она, пожалуй, просто не сдержалась, Бэт была в этом уверена.

Она достала зажигалку, закурила. Эйлин задумчиво пила чай.

«Эйлин,» — Бэт нарушила молчание. — «А что... что ты думаешь о творчестве Джэйкоба?»

«Я думаю, что он гениален.»

«Да, наверно.» Бэт задержала свой взгляд на одной из роз на крышке стола, выполненной из тиса. Мастер попытался передать хрупкость цветка с помощью одного из самых трудно поддающихся обработке сортов древесины. «Просто, знаешь, многие считают Джэйкоба ужасно немзыкальным.»

«Да, я знаю.» — Эйлин улыбнулась. «Но, по-моему, это уже слишком.»

«Слишком. Слишком. Я не знаю. Мне кажется, что он иногда неоправданно груб. Никто не приходит слушать Брамса, например... или что-нибудь подобное, берущее за душу...»

«Джэйкоб взялся за Брамса по той простой причине, что вы с Доном его об этом попросили, в надежде на то, что приток публики увеличится. И Джэйкоб всего лишь интерпретировал его по-своему...»

«...немузыкально...»

Эйлин допила свой чай и вновь наполнила свою чашку.

«Бэт, ты сама не веришь в то, что говоришь.»

«По-моему, ты тоже.»

«Я же сказала, я думаю, что он гениален.»

«Но после его исполнения Брамса люди выходят из зала, говоря друг другу: «Я думал, что сегодня вечером нам исполнят Брамса...»

«А Реквием Форэ?»

Конечно, она помнила этот Реквием. Кэрол тогда играла на арфе, а Бэт совершенно случайно удалось найти свободное место в зале. Эйлин — через пять или шесть мест вправо от нее, но она ничего не видела, ничего не замечала — ничего, кроме музыки, плавно струившейся над инструментами, зависающей в воздухе и затем незаметно испаряющейся. Подобно тому, как испаряются духи. Эйлин, сама того не замечая, поднесла руки к лицу. На ее указательном пальце жемчужиной заблестела слеза. Но она молчала. И потом настал тот самый момент... ее лицо было бледным, как лицо фарфоровой статуэтки.

«Да,» — сказала Бэт, — «тебе ведь очень понравился тогда Реквием, правда?»

«Величественное произведение. Джейкоб прекрасно его исполнил. Он выбрал нерешительную манеру, я имею в виду, сделал музыку нерешительной, и иногда это было похоже на...» Она замолчала, разглядывая свою чашку.

«На что?»

«Похоже на беседу. Временами мне казалось, что Джэйкоб задавал вопросы...»

«О невнемлющих богах...» — сухо откомментировала Бэт.

«Да,» — согласилась Эйлин, не замечая иронии. Она наклонила голову набок и произнесла, как будто обращаясь к чашке: «Ведь так и надо исполнять реквием, не так ли?» Она опустила глаза. Ее лицо, обрамленное густыми волосами, оставалось неподвижным.

«Наверно, Джэйкоб считает, что реквиемы ему очень удаются,» — сказала Бэт. — «Тем не менее, его Форэ был стремительнее, чем публика могла ожидать. Как, впрочем, и его Моцарт...»

«Его Моцарт превосходен,» — пробормотала Эйлин.

«Его Моцарт чересчур понятен. Никто не ждет от музыки Моцарта такой ясности. Это даже пугает...»

«Значит, они не любят Моцарта —»

«Они приходят на концерты как раз потому, что любят Моцарта.»

«Тогда они просто не слушают. Все — в музыке. Моцарт безжалостен. Но это уже вторично —»

«Джейкоб не изучал философию,» — Бэт продолжала настаивать. — «Он музыкант.»

Эйлин взглянула на нее так, будто она только что произнесла нечто нелепое или смешное. Она тихонько рассмеялась и, приподняв Эразма, устроилась в кресле поудобней. «Ты права. Но я ведь тоже не философ и даже не музыкант. Я, на самом деле, не так много знаю, чтобы высказывать подобающие суждения. Но зачем тебе надо было знать, что я думаю о творчестве Джэйкоба? Это социологический опрос?»

Бэт провела указательным пальцем по рельефной перламутровой хризантеме на чашке, затем ее палец скользнул вдоль трещины.

«Нет, это не опрос,» — начала она медленно. — «Меня интересует только твое мнение.»

«И мнение публики.»

«Публика покупает билеты, но...» — Бэт вздохнула. — «Музыка — сложнейшая из загадок. Помню, как я была удивлена, когда поняла, что ты восхищаешься тем, что делает Джэйкоб. Возьмем тот же пример, Моцарт — мне казалось, что ты была самим Моцартом: такая же легкость, такая же элегантность...»

«...Моцарт может заставлять страдать и, в то же самое время, оставаться элегантным...»

«...но теперь мне кажется, что ты не только восхищаешься этой музыкой, ты понимаешь ее. И меня поражает это...»

«Что значит — понимать музыку Джэйкоба?» — Эйлин рассмеялась не без упрека.

«Я спрашивала себя о том же.» Бэт пристально смотрела на Эйлин, как раз в тот момент, когда та подносила свою чашку ко рту.

Эразм жалобно подал голос, и Эйлин участливо заговорила с ним: «Хочешь чая, Эразм? Может быть, ты голоден, Эразм? А что, если полечить тебе ухо?»

Бэт курила. Я всегда задаю неожиданные вопросы, и они ставят тебя в тупик. Вот и сейчас ты снова ухитрилась ускользнуть от ответа. И если бы Эразм не мяукнул, тышла бы какой-нибудь другой повод. Тебе нет равных в этом, Эйлин.

Пробило семь. Эразм неожиданно вцепился в руку Эйлин и зарычал.

«О, Господи,» — вздохнула Бэт. — «Ужин!»

«Ничего,» — успокоила Эйлин, — «если даже Эдвин начнет беспокоиться, он знает, где тебя искать.»

«Причем, я всегда прошу его не дожидаться, пока я приду, и начинать без меня. Догадается ли он? Если нет, будет есть холодное. Кстати, чем ты занимаешься в выходные? Приезжает тетя Эдвина, и я подумала, может быть, ты не откажешься поужинать с нами. Хоть как-то поможешь мне занять гостей.»

«Я... я собираюсь провести выходные в загородном доме, на побережье...»

«Одна?» Ох, уж этот дом! Это просто бегемот, а не дом. К тому же старый, покосившийся. Бэт никак не могла понять, зачем Эйлин купила его. Может, потому, что она была слишком одинока.

«Ну... все уже знают, что я уезжаю... Вот... теперь и ты знаешь. Там столько надо будет сделать! Дом просто забит...»

Не сомневаюсь, подумала про себя Бэт. Вся твоя жизнь забита... Забита чужими, выдуманскими тобой судьбами... Тебе бы надо иметь братьев и сестер.

Тебе бы надо было выйти замуж за тихого, неуклюжего человека, родить шестерых или семерых детей, держать собак, лошадей, золотых рыбок в аквариуме и хранить серебряные ложечки в формочке с песком.

Бэт наклонилась вперед, чтобы поставить свою чашку на поднос. И от соприкосновения с прохладным серебром фарфоровая чашка распалась надвое. Обе женщины молча усталились на поднос.

«Ну, надо же...» — пробормотала Эйлин, — «я даже не замечала, что чашка треснула...»

## Октябрь

На отвесном утесе, возвышающемся над песчаным берегом, посреди овсяного поля стояла небольшая часовня. Эйлин Вилиерс всегда казалось, что кто-то очень сильный специально перенес сюда, на это северо-американское побережье, кусочек шотландского пейзажа. Она представляла себе, что эта часовня была построена одним сентиментальным эмигрантом, читавшим свои проповеди перед пустыми скамейками. Вероятно, ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь пол построенной им часовни будет завален мусором, накиданным парочками влюбленных подростков, что кафедра, предназначенная для проповедника, будет сплошь покрыта бумажками от конфет.

Эйлин с силой захлопнула позади себя качавшуюся от ветра дверь и прошла вглубь часовни, чтобы получше рассмотреть ее изнутри. Ряд скамеек с грубо выгравированными инициалами прихожан и сердечками, постоянный сырой полумрак, массивные, изъеденные морской солью стены, мутные от частых песчаных бурь оконные стекла. Простой деревянный крест, сделанный из остатков бревен, слегка подгнивших от влажного морского воздуха, с вырезанными на них колонками имен и цитат.

И тишина, застывшая над всем берегом тишина, как единственный след того аскетизма, которого, вероятно, придерживался создатель часовни. Казалось, весь этот пейзаж успокаивал Эйлин, как будто нашептывал ей: «Ты можешь отдохнуть здесь столько, сколько ты захочешь, можешь остаться здесь навсегда, навечно...» Течение навстречу смерти, неизбежное, но спокойное.

Эйлин прошлась между рядами скамеек, затем остановилась. Вокруг раздавалось эхо ее шагов, как будто невидимые прихожане рассаживались по местам в ожидании проповеди. Чтобы не нарушать больше тишину, она тихонько опустила на ближайшую скамью. Эйлин закрыла глаза. В этой тишине было что-то откровенное и, вместе с тем, звучное... как в симфонии Джэйкоба, в которой так много тишины... Его симфония — безмолвная вселенная, бездна, в которой рождается звук...

Бэт предсказывала, что публика на концерте начнет нервно постукивать программками по спинкам впереди стоящих кресел, откашливаться, стараясь хоть чем-то восполнить эту резкую тишину... Но эта тишина никогда не угнетала Эйлин. Для нее это была молитва... молитва того, кто не знает, как молиться, или, быть может, молитва, произносимая украдкой. У этой молитвы есть вселенная, но нет звуков. И вот они появляются, едва различимые, прозрачные, отдаленные и беспорядочно разбросанные в пространстве звуки, они усиливаются до тех

пор, пока не сливаются в одно плавное звучание арфы; но вот оно начинает постепенно стихать, вот оно уже совсем исчезло как то, что не может длиться долго и что нельзя сохранить...

Эйлин сжала губы, думая о том, что она опять переносит свои чувства на музыку. Джэйкоб всегда говорил, что это неуместно. Она старалась изменить себя, но в глубине души продолжала считать его точку зрения немного щепетильной и даже скучной. Ему никогда не нравилось то, что она старалась все время что-то прочесть в его музыке, что она воспринимала ее слишком лично, но что еще оставалось ей, если эта музыка заменила для нее его душу?

...И после арфы нет ничего...

Джэйкоб каждый раз начинает снова. Но ни одна из попыток не нравится ему. Он «отделяет» тишину, высекая из нее звуки. А потом он уничтожает... уничтожает все, что было раньше, отказываясь даже от звучания арфы, садится поодаль, «вынашивая» эту тишину. Как будто в ожидании того, что звук неизбежно прорежется... Как будто в ожидании рока...

Эйлин слегка вздрогнула, потеряла виски. Она оглянулась вокруг, думая, что неплохо было бы прийти сюда еще раз, с Джэйкобом, после того, как они встретятся на берегу (если, конечно, он придет, он так непунктуален обычно).

Внезапно захлопала старая перекошенная дверь. Ветер свистел в проломленных досках пола, прогнившее дерево трещало, как будто его кто-то разламывал на части. Эхо гудело и завывало по всей часовне. Но потом ветер стих, так же внезапно, как и поднялся. Ветер умер или перенесся в другое место, но поднятый им шум, вероломный, неприятный, не стихал еще очень долго. Наконец, все заново погрузилось в тишину. И только когда все стихло, Эйлин обнаружила, что ее пальцы машинально скользят по поверхности деревянного сердечка, грубо вырезанного на спинке скамьи, прямо перед ней. Присмотревшись, она заметила выцарапанные на нем инициалы. Они совпадали с ее собственными — Э.В. Эйлин попыталась разобрать и те, что были рядом: кажется, С или Г, но только не Д и Б. Она вслух рассмеялась своей глупости. Гулкое эхо протрясло передразнило ее.

## Октябрь

Свинцовые облака тихо скользили по небу цвета топленых сливок, и белые дома, казавшиеся теперь розовато-лиловыми, расплывались над землей подобно призракам. — Я здесь больше не выдержу.

Летнее парижское солнце клонилось к закату, заполняя комнаты своими бежевыми лучами. Все дома в этот предзакатный час окрашивались в абрикосовый цвет. Я помню Нотр Дам — тогда мы долго гуляли, взявшись за руки, под его прохладными сводами — ярко-оранжевый собор, пылающий на фоне бирюзового неба. Этот свет заставлял массивные камни казаться легкими, почти прозрачными.

Я помню широко открытые глаза ошеломленного Джэйкоба. Да, говорил он мне тогда, три поколения людей отдавали на протяжении двухсот лет все свои силы возведению этого чуда, и вот теперь забыты и имена и судьбы, только одно лишь это каменное сооружение продолжает здесь стоять вот уже более восьмьсот лет. Думал ли когда-нибудь мастер,

создавший вот эту угловую горгулью, о подобном сроке? О сроке в восемьсот лет, в то время, когда средняя продолжительность жизни была тридцать пять лет? Судьбы каждого строителя слились в этом незаконченном соборе... Но собор закончен, вот же он стоит, сказала я. Конечно, но его еще не было тогда, когда умер тот мастер — ответил Джэйкоб.

Позже — по-моему, это было в тот же самый день — мы опять вернулись сюда. Солнце уже село, горели прожекторы, и в их освещении собор казался хрупким и бледным, как паутина. Джэйкоб вновь остановился.

Почему я все это вспоминаю сейчас? Ах, да... Свинцовые облака. Опутанные готической паутиной соборы...

Джэйкоба все еще нет. В последний раз, когда я попыталась заговорить, он нежно поднес руку к моим губам и застыл так. Надолго. Надолго. Он улыбался и все держал свою руку на моих губах.

Только Минни еще более-менее понимает мою речь. Вас причесать, мисс Тэг? Ужин, мисс Тэг? Хотите на террасу, мисс Тэг? Мне иногда кажется, что Минни любит за мной ухаживать. Она так много говорит со мной все время, конечно, кроме выходных, когда ее сменяет Джэйкоб.

В прошлую субботу Джэйкоб показал Минни, как нужно чистить мою арфу. Он разбил несколько яиц, отделил белок от желтка и тщательно смазал белком позолоту. Минни, прижав руки к лицу, с подозрением наблюдала за ним и вдруг испуганно воскликнула: «Ой, вы пачкаете этой гадостью золоту!» Я рассмеялась. Я смеюсь, как пьяный, но я ничего не могу поделать, и все тоже начинают хохотать, глядя на меня. Это, действительно, кажется смешным. Но недолго.

Он настраивал арфу каждое воскресенье. Минни не мешала ему. Она говорила, что, если Джэйкобу хочется настраивать ее, то это его личное дело. И зачем же вмешиваться? Это его проблемы, Минни пожимала плечами. Она была совершенно права.

«Шарлотт, Шарлотт,» — шепчут его губы около моих висков.

Прости, Джэйкоб. Это зависело не от меня. С лиц окружающих не сходит трагическое выражение. И Бэт. Бэт, милая, ну почему ты так ужасно постарела? Я помню ее в Париже — молодую, совсем еще молодую, бесстрашную. Узкие, глубоко посаженные глаза Бэт как будто старались спрятаться на ее непроницаемом лице.

Я думаю, что Бэт любила Джэйкоба. А Джэйкоб любил всех. Джэйкоб всегда боялся остаться один. Странно, как это меняет человека.

В прошлое воскресенье он сидел рядом со мной, гладил мои руки, протискивая пальцами направленные слегка вздувшиеся вен, как будто бы надеясь на то, что они приведут его куда-то... Он ошеломленно вглядывался в мое лицо, как будто бы я была Нотр Дам. Он рассказывал о своей симфонии, еще и еще, не произнося в сущности ни слова, заполняя тишиной пространство, ведь я не могла говорить. И потом наступила долгая тишина (похоже было, что он выбился из сил, ничего не говоря), я хотела помочь ему, но он приложил руку к моим губам и улыбнулся. Тишина — вот, что он хотел услышать. Но если вы хотите услышать тишину, вы должны озвучить ее пределы. Иначе никто не заметит ее.

Это было то, что я хотела сказать, когда Джэйкоб, опустившись на колени перед инвалидной коляской, поднес руку к моим губам. Он положил свою голову поверх плеча, окутавшего мои ноги — свою седеющую голову. Я хотела коснуться его редких волос, но эти руки не могли до них дотянуться.

Небо цвета топленых сливок потемнело.

«Мисс Тэг?» В дверях стояла Минни. И думая, что я не услышу ее на расстоянии, она приблизилась вплотную к коляске. «Мисс Тэг? Похоже, мистер Бэйшивс задерживается. Вы хотите подождать с ужином? О'кэй. Я все сделаю.» Она направилась к двери. «Он должен приехать. Сегодня же пятница.»

Для Минни земля — твердая, вода — жидкая, небо — вверху. Конец — значит, конец. И так во всем. Как просто. И как ясно. Вот так же, просто и ясно, я хотела бы говорить с Джэйкобом.

...Невысказанные, похороненные навечно мысли, чувства, которые когда-нибудь все же будут высказаны, хотя... Какой скачущий ангел взирает на все эти желания, которые не исполнились, на эти сражения, которые были проиграны, на умерших детей, на эти забытые мечты? Какая произнесенная фраза, какая сохраненная тайна должны разрушить этот неизбежный ход событий? И кто знает, станем ли мы когда-нибудь счастливей?

Кажется, прошло уже четыре недели с тех пор, когда Бэт приходила последний раз. Бодро рассказывая по моей спальне, она увлеченно говорила: «Послушайте, Шарлотт, все совершенно ясно. К примеру, Джэйкоб все время говорит мне: «Нет, Бэт, нет. Арфа совсем не так должна звучать». Он просто изматывает меня, пытаюсь добиться такой же игры, как ваша, Шарлотт.»

Проделав очередной круг по комнате, она осталась у окна. «Ну, так вот. А я ему ответила: «Послушайте, Джэйкоб, никто и никогда уже не будет играть так, как играла Шарлотт.» «Я могу поклеститься, чем угодно, в том, что Джэйкоб был смертельно бледен, как будто бы я очень сильно его испугала. Я испугала его. Понимаете?»

Скрестив руки, Бэт стояла у окна и пристально вглядывалась вдаль. Затем, встряхнув головой, будто стараясь скинуть невидимые листья, она продолжила: «Вот так. Я полностью убеждена, Шарлотт, что эта симфония — для вас. Тем более, я — единственная, кого он просил проигрывать эскизы.» Ее отражение в зеркале смотрело прямо на меня. «Ведь я играю на арфе.»

Уже стемнело... С моего места мне хорошо видны окна дома напротив. Желтые огни, люди, проводящие остаток дня с семьями, должно быть, весело болтают о чем-то за ужином. Рискованная попытка придать смысл каждодневным мелочам все еще продолжается.

Оставь, Джэйкоб. Там мне не нужна будет твоя симфония. Там у меня будет тишина. Чистота. Пустота. Ты не сможешь выразить все это. Пугающая красота вечности... Разрешите мне уйти.

«Мисс Тэг? Вы хотите еще подождать с ужином? Ну, что ж. Как скажете.»

Перевела с английского Ольга Тетеркина.

## **РУССКИЕ ФОНДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 58, RUE RICHELIEU 75002 PARIS**

Национальная Библиотека, являющаяся на сегодня одной из самых крупных библиотек мира, была основана Карлом V еще в XIV веке и значительно пополнена Франсуа I, превратившим ее в государственное книжное хранилище. В настоящее время в библиотеке на стеллажах, общая длина которых 120 км, хранится 12 миллионов книг. Штат библиотеки насчитывает 1250 человек.

Что же касается русских произведений, то этот старинный фонд носит энциклопедический характер.

Начиная с 18 века, русские фонды Королевской Библиотеки пополнялись путем обмена между научными обществами двух стран, а также дарами различных ученых и литераторов. В качестве примера можно привести русские работы из библиотеки Дидро и Е.Еро. Эти работы, переданные впоследствии Королевской Библиотеке, в свое время доставлялись по списку, регулярно публикуемому в Энциклопедическом Обзрении. А также все публикации Русской Академии Наук, связанные со службой в царских, затем в императорских войсках. Библиотека получала их по мере выхода в свет в России. Вообще, библиотека владеет богатейшей коллекцией официальных публикаций Русской Империи. В остальном же большая часть русских произведений, поступавших в библиотеку вплоть до начала 19 века, была издана на французском языке.

Национальной Библиотеке принадлежит Библия, изданная в 1581 г. в Остроге русским первопечатником Иваном Федоровым, а также около 20 изданий, относящихся к 17 веку. Что же касается изданий 18 века, то их насчитывается около нескольких сотен (оригиналы работ Екатерины II, Сумарокова, номера первых русских журналов, издававшихся Новиковым, таких, как, например, «Трутенъ», а также весьма редкие масонские издания). Из изданий конца 19 века отметим лишь некоторые политические брошюры малоизвестных в России партий. Но фонды БСМД (Библиотека Современной Международной Документации) в этом отношении более полные.

К сожалению, в неплодотворный для русской культуры период с 1917 по 1945 годы небезызвестные политические события и отсутствие интереса к Франции со сторо-

ны русского общества значительно замедлили обмен между двумя странами. Отсутствие специальных служб нанесло вред библиотеке, которая в этот период не смогла организовать, подобно крупнейшим западным библиотекам (Британская Библиотека, библиотеки в Хельсинки и в шведском городе Упсала...), значительный фонд русских произведений, относящихся к довоенным годам. Вот почему русская служба Национальной Библиотеки, основанная в 1946 году, стремится восполнить этот пробел путем систематических поступлений текущих изданий. Начиная с 1962 года русская служба выделяет значительную часть своего бюджета на приобретение довоенных русских изданий (относящихся приблизительно к периоду с 1905 года по 1930 год); современные произведения поступают в Национальную Библиотеку по обмену.

Русская служба Национальной Библиотеки владеет почти таким же количеством книг, что и библиотека в Сорбонне и библиотека Восточных Языков (но собрание политической и исторической литературы БСМД значительно богаче, хотя и оно ограничено).

Что же касается крупнейших мировых фондов, то Библиотека Конгресса (США) приобретает все русские издания. Но, как и Нью-Йоркская Публичная Библиотека, равная ей по объему фондов, она владеет гораздо меньшим количеством древних изданий. Хельсинкская и Упсальская библиотеки, «звездный час» которых пришелся на начало века, обладают все-таки меньшим русским фондом, чем Национальная Библиотека, которая продолжает занимать второе место в мире после Британской Библиотеки, самой богатой на сегодняшний день.

Отметим, что русская служба Национальной Библиотеки имеет особый Общий Каталог всех работ на русском языке, хранящихся в библиотеках Парижа и его окрестностей.

*Поэт и переводчик Владимир Матиевский родился в Ленинграде в 1952 году. Учеба в школе, служба в армии, работа в Библиотеке АН СССР, а затем кочегаром в котельной зоологического института - таковы официальные вехи его пути. „Интересно, а переводят ли английские кочегары Пушкина?“ — заметил он как-то.*

## ВЛАДИМИР МАТИЕВСКИЙ

### БАЛЛАДА

Ресницы-рощицы, что вы ропщете?  
Обходиться без слез пора...  
Мало плачут в пустыне, —  
Потому и густыми  
Одарил азиаток Алла.

Помолчим, помолчим незаметно,  
Помолчим, закусив удила.  
В караван-сараях, за Меккой  
Разбираются наши дела.

Наши мысли — простые декхане  
Вопрошают опыт чужой: —  
И ответ — на одном дыханьи  
Для владеющего душой.

Может быть (если смысл тех слов цел,  
Если те и язык и слова),  
Первый — клялся, что видел под солнцем  
Паука о семи головах.

Для второго — таинственной грамот  
Был в Рахфе прошлогодний байрам,  
Где на плиты нового храма  
Сел мудрец, и обрушился храм.

Третий верил цветному зелью,  
И забывшись поднялась рука  
На охоте за быстрой газелью  
Пристрелить своего кунака.

Толкователь, все шири ада  
Исходивший по тропам книг,  
Им ответил: «Не чтут Шариата  
мусульмане, куда ни ткни:  
Пьют вино и скупают на гаремы,  
Земледелец от поля отвык,  
Потому — как камней на горе мы  
Видим праздных и злых горемык.  
От любимых уходят в город,  
Возвращаются, — прощены, —  
Недовольный и продан, и порот,  
И нигде никакой войны.

Приведений не видит смелый,  
знаешь зелье — забудь про ружье,  
храмы держит не мудрость, а вера,  
ждут советов владык — старушьи...  
Доживем и до горького меда, —  
Государственной хватит башки  
Гривы ваших коней и знамена  
От нужды пустить на мешки!»...

Говорил на одном дыханьи  
За бедой прорицалась беда,  
Помрачнели, как тени, декхане,  
как Коран почернела вода.

Говорил, пока ночь по рукам дня  
Не спустилась на тихий Харам  
И велел им у черного камня  
Помолиться за всех мусульман.

---

Библиотеки  
Помимо всех дел —  
Книжных, читательских, дружных,  
Необходимый имеют раздел —  
Окон, глядящих наружу.  
И в переулках библиотек  
Значимы, дня на исходе,  
Окна наружу... И мысли о тех...  
— Это смотря по погоде.

Подготовил публикацию В. Бобрецов

В 1932 году я приехал в Москву со своим компаньоном Ракуссеном. Нас только что постигли страшные неудачи на Нью-Йоркской бирже: в двадцать четыре часа все, что было нажито нашим тяжелым трудом, превратилось в ничто, и врачи посоветовали нам полностью сменить атмосферу, пожить несколько месяцев спокойной жизнью, подальше от Уолл Стрит и ее лихорадки. Мы решили съездить в СССР. Я хочу подчеркнуть здесь один важный момент: мы приняли решение с искренним энтузиазмом, нежной симпатией к достижениям в СССР, что могут понять только биржевые маклеры, в пух и прах разорившиеся на рынке ценностей Уолл Стрит. В прямом и переносном смысле мы нуждались в новых ценностях. Был январь. Москва стояла в снежном уборе. Мы только что посетили Музей Революции и, выйдя отсюда, решили сесть в сани и вернуться напрямиком в гостиницу Метрополь, где мы поселились. Наше путешествие в СССР проходило под покровительством Интуриста, и вот уже две недели гид безжалостно таскал нас из музея в музей, из театра в театр.

— Все это у нас в Штатах давно есть, — обычно говорил Ракуссен, спускаясь по лестнице.

Каждый раз, когда гид заставлял нас посетить какое-либо место, Ракуссен чувствовал себя обязанным сказать: «У нас в Штатах есть то же», добавляя, как правило: «И лучше». Он сказал так в Кремле, он сказал так в Музее Революции, сказал также в мавзолее Ленина, и в конце концов гид стал косо глядеть на нас. Я искренне верю, что эти, действительно, не к месту сделанные Ракуссеном замечания имели прямое отношение к тому, что с нами произошло.

Пошел снег, и мы выбивали дробь ногами, отчаянными жестами подзывая проезжавшие мимо сани. Наконец, одни остановились, и мы удобно устроились. Ракуссен крикнул: «Гостиница «Метрополь»», сани заскользили, и только тогда я заметил, что на сиденье впереди не было кучера.

— Ракуссен, — закричал я, — кучер отстал!

Но Ракуссен мне не ответил. Его лицо выражало безграничное изумление. Я проследил за его взглядом и увидел, что сиденье кучера было занято голубем. Сам по себе этот факт не имел ничего необычного, на улице было полно голубей, клюющих лошадиный навоз; потрясало, по правде, только поведение голубя. По всей очевидности, он замещал кучера. Конечно, вожжи он не держал, но рядом с ним на сиденье был укреплен колокольчик, с которого свисал шнурок. Время от времени голубь клювом ухватывал шнурок и тянул книзу: один раз — и лошадь шла налево, два раза — поворачивала направо.

— Хорошо он выдрессировал свою лошадь, — заметил я с какой-то хрипотцой.

Ракуссен метнул в меня взгляд, но ничего не сказал. Сказать было нечего, — за свою жизнь я повидал немало невероятных вещей, недавно я видел, как Марс Оил, оцениваемая всеми по величине отца семейства, рассыпалась в прах за двадцать четыре часа, но голубь, которому доверили общественный транспорт на улицах большой европейской столицы, — вот это был беспрецедентный случай в моей жизни делового американца.

— Ну как, — попробовал я пошутить, — наконец, что-то, чего нет у нас в Штатах.

Но Ракуссен был не настроен рассуждать о достижениях Великой советской республики в области транспорта. Как это часто бывает с примитивно мыслящими людьми, все, что он не понимал, вызвало у него гнев.

— Я хочу слезть, — закричал он.

Я посмотрел на голубя. Он подпрыгивал на своем сиденье, хлопая крыльями, чтобы согреться, на манер русских извозчиков. Он выглядел отнюдь не впечатляюще, хотя и был пионером социализма. На самом деле я редко видел голубя столь плохо ухоженного, а если говорить искренне, более грязного и менее достойного прогуливать по улицам столицы двух американских туристов.

— Я хочу слезть, — повторил Ракуссен.

Голубь нехорошо посмотрел на него, скакнул к колокольчику и трижды дернул за шнурок. Лошадь остановилась, у меня нервно задрожало левое колено, что является у меня признаком большого внутреннего волнения. Я отвернул полог и уже готов был вылезти, но Ракуссен, очевидно, внезапно переменил решение.

— Я хочу это выяснить, — заявил он, оставаясь на месте и скрестив руки на груди. — Я не дам себя мистифицировать. Если им кажется, что они могут безнаказанно оскорблять американского гражданина, они ошибаются.

Я не совсем понял, почему он почувствовал себя оскорбленным, и сказал ему об этом. Мы обменивались так горькими репликами, когда я заметил, что на тротуаре образовалось скопление народа и прохожие останавливались, с удивлением смотря на нас.

— Да они даже не на голубя смотрят, — сказал упавшим голосом Ракуссен. — Это они на нас смотрят.

— Друг ты мой Ракуссен, — сказал я, положив ему руку на плечо, — давай кончим изображать из себя остолбенелых провинциалов. В конце концов, мы чужие в этой стране. Эти люди лучше, чем мы, знают, что у них в норме, а что нет. Не забывай, что в этой стране произошла великая революция. Нас очень плохо информировали об СССР. Они в самом деле строят новый мир. Более чем вероятно, что они, пользуясь новыми методами, достигли в области дрессировки голубей того, о чем мы и не мечтали в наших странах-старушках, закорякостевших в вековой рутине. Допустим, этот голубь — пионер, и хватит об этом. Не будем мелочными, Ракуссен, поднимемся на высоту обстоятельств; терпение, Ракуссен, проявим великодушие. Почему бы не допустить, что с точки зрения рационального использования под-

собной силы, нам, в Штатах, еще есть чему поучиться?

— Рациональное использование подсобной силы, плевать я на это хотел, — грубо ответил Ракуссен.

Но я не дал сбить себя с толку.

— Извозчик, — крикнул я с лучшим моим русским акцентом, — Извозчик, вперед! Звони в колокольчик! Ай да тройка! Волга-Волга!

— Молчите! — прошипел Ракуссен. — Или я сверну вам шею.

Вдруг он заплакал.

— Я унижен! — рыдал он на моей груди. — Ох, как я унижен! Где мама? Хочу к маме!

— Я с тобой, Ракуссен, дружище, — закричал я. — Можешь целиком на меня положиться!

Все это время зеваки на тротуаре глазели на нас с неослабным интересом. Голубь первым утомился от спектакля. Он внезапно зазвонил в колокольчик, лошадь тронулась, и сани быстро заскользили по снегу. Время от времени голубь оборачивался, бросая на нас премерзкий взгляд. Ракуссен по-прежнему рыдал, а я начинал ощущать то странное напряжение в черепе, которое у меня не предвещает ничего хорошего. Сани остановились перед зданием, украшенным советским флагом. Голубь соскочил со своего сиденья, семени, зашел внутрь и тотчас вернулся в сопровождении полицейского.

— Товарищ, — воскликнул я, — мы полностью отдаемся под вашу защиту. Мы мирные американские туристы, и с нами сейчас обращались крайне некрасиво. Этот извозчик...

— Почему этот мерзавец голубь привез нас в отделение? — прервал меня Ракуссен.

Полицейский пожал плечами.

— Вы уже час в его санях, но, кажется, не знаете, куда хотите ехать, — объяснил он нам на великолепном английском. — К тому же, ваше поведение показалось ему странным, и он утверждает даже, что вы смотрели на него с угрозой. Вы напугали его, товарищи. Этот извозчик не привык к туристам и их манерам. Нужно его извинить.

— Он вам это все объяснил? — спросил мрачно Ракуссен.

— Да.

— Так, он говорит по-русски?

Полицейский, казалось, был искренне шокирован.

— Товарищи туристы, — сказал он — могу вас заверить, что 95 процентов нашего населения вполне грамотно говорят и пишут на своем родном языке.

— И голуби?

— Товарищи туристы, — сказал полицейский несколько напыщенно, — я никогда не был в Соединенных Штатах, но уверяю вас, у нас образование доступно всем, без различия рас.

— В Соединенных Штатах, — завопил Ракуссен, — есть голуби, окончившие Гарвард, а я лично знаю двенадцать, которые заседают в Сенате!

Он бросился вон. Я за ним. Голубь со своими саними все еще был на месте, без всякого сомнения, ожидая плату за проезд. Я взглянул на него, и имен-

но тогда эта фатальная мысль пришла в мою голову. Совсем рядом с отделением находился филиал Универсама. Я кинулся туда и вскоре, торжествуя, вышел с двумя чудесными бутылками водки.

— Ракуссен, старина, — крикнул я, грозя голубю пальцем, — я нашел разгадку тайны. Этой птицы нет! Это галлюцинация, проклятый плод чрезмерной трезвости, к которой нас приговорили врачи, наши отравленные организмы не способны переносить этот режим. Выпьем! И голубь растает в воздухе, как плохой сон.

— Выпьем, — завопил с энтузиазмом Ракуссен.

Голубь подчеркнуто демонстративно сидел к нам спиной.

— Ага! — крикнул я. — Он слабеет. Знает, что минуты его сочтены.

Мы выпили. После четверти бутылки голубь все еще оставался на месте.

— Не будем отступать, — сказал я. — Мужайся, Ракуссен, мы его одолеем. От него и перышка не останется.

На две трети бутылки голубь обернулся и пристально посмотрел на нас.

Я понял его взгляд.

— Не надо! — пролепетал я. — Не надо нас жалеть!

На полбутылке голубь вздохнул, а на трех четвертях сказал по-американски с сильным бронским акцентом:

— Товарищи туристы, вы сейчас находитесь в чужой стране, два представителя большой прекрасной страны, и, вместо того, чтобы корректным и достойным поведением внушить нам уважение к своей родине, вы нажрались, как скоты, прямо на улице. Граждане, меня от вас воротит!

... Пишу эти строки в своем клубе. Вот уже двадцать лет прошло со дня ужасного приключения, которое для нас стало началом новой жизни. Ракуссен повис на люстре со мной и в свойственной ему манере мешает мне работать. Сестра, сестра, да скажите же вы этой проклятой птице, чтобы он оставил в покое мои крылья! Я пытаюсь писать.

## ГУМАНИСТ

В дни, когда к власти в Германии пришел Гитлер, жил в Мюнхене некий Карл Леви, фабрикант игрушек по роду занятий, весельчак, оптимист, верующий в человеческую натуру, хорошие сигары, демократию, и хотя от арийца в нем было мало, он не принимал всерьез антисемитские заявления нового канцлера, будучи уверен в том, что здравый смысл, чувство меры и некое врожденное стремление к справедливости, несмотря ни на что, столь распространенное в сердцах людей, одержат верх над их сиюминутными заблуждениями.

На предупреждения, которые ему щедро расточали братья по расе, зовущие его последовать за ними в эмиграцию, Герр Леви отвечал легким смешком и, удобно устроившись в кресле с сигарой в зубах, вспоминал солидных друзей, приобретенных им в траншеях во время войны 1914-1918 гг., друзей, некоторые из которых, очень высоко сегодня сидящие, не преминут замолвить за него слово, если понадобится. Он предлагал обеспокоенным гостям стакан ликера, поднимал свой «за человеческую натуру», к которой испытывал, как сам признавался, полное доверие, независимо от того, рядилась ли она в нацистскую или прусскую форму, носила тирольскую шляпу или кепку рабочего.

Дело в том, что первые годы режима не оказались для нашего друга Карла ни очень опасными, ни даже тягостными. Конечно, какие-то неприятности, несправедливости были, но то ли ему действительно помогла под сурдинку «окопная дружба», то ли свойственная ему чисто немецкая жизнерадостность, облик его, вызывающий доверие, на какое-то время отсрочили интерес к его личности. В то время как все те, чье свидетельство о рождении заставляло желать лучшего, собирались в изгнание, наш друг продолжал мирно существовать между своей фабрикой игрушек и своей библиотекой, своими сигарами и хорошим погребом, поддерживаемый непоколебимым оптимизмом и верой в человеческую натуру. Затем началась война, и дела немного поплошали. В один прекрасный день ему грубо запретили вход на собственную фабрику, а на следующий день молодые люди в форме набросились на него и серьезно помяли. Герр Карл позвонил туда-сюда, но «фронтвые друзья» на телефонные звонки больше не отвечали. В первый раз он ощутил легкое беспокойство. Он пошел в свою библиотеку и долгим взглядом обвел книги, стоящие вдоль ее стен. Он долго глубокомысленно смотрел на них: все собранные там сокровища говорили в пользу человека, защищали его, отстаивали его и умоляли Герра Карла не терять мужества и не отчаиваться. Платон, Монтень, Эразм, Декарт, Гейне... Нужно доверять этим первооткрывателям; хранить терпение, дать гуманизму время, чтобы он смог проявиться, сориентироваться в беспорядке и недоразумении и одолеть их. Французы нашли даже для этого удачное выражение, они говорили: Гоните естественное, оно вернется вскачь. И великодушные, справедливости, здравый смысл и на

этот раз еще восторжествуют, но был очевиден риск, что все это затянется. Нельзя было ни потерять веру, ни упасть духом, — все же следовало принять ряд предосторожностей.

Герр Карл уселся в кресло и стал думать. Это был кругленький человечек с розовыми щечками, хитровато поблескивающими очками, тонкими губами, очертания которых, казалось, еще хранили следы всех хороших слов, которые они произнесли.

Он долго созерцал книги, коробки сигар, свои славные бутылочки, такие родные вещи, как будто советовался с ними, и мало-помалу глаза его оживились, хитрая улыбка расползлась по лицу, и он поднял бокал с коньяком во славу тысяч томов библиотеки, как бы желая заверить их в своей верности.

Господину Карлу вот уже 15 лет прислуживала пара бравых мюнхенцев. Супруга работала экономкой и поварихой, готовила его любимые блюда; муж был шофером, садовником и сторожем дома. У господина Шутца была единственная страсть — чтение. Часто после работы, в то время как жена вязала, он часами сидел, склонясь над книгой, которую одолжил ему Герр Карл. Любимыми его авторами были Гете, Шиллер, Гейне, Эразм; он вслух читал жене самые благородные и вдохновенные пассажи в занимаемом ими маленьком домике в конце сада. Часто Герр Карл, чувствуя себя немного одиноко, приглашал дружиче Шутца в библиотеку, и там, с сигарой во рту, они долго беседовали о бессмертии души, о существовании Бога, о гуманизме, о свободе и обо всем том прекрасном, что можно было найти в книгах, которые их окружали и по которым скользили их признательные взгляды.

Итак, в час опасности именно к другу Шутцу и его жене обратился Герр Карл. Отправляясь в домик на краю сада, он прихватил с собой коробку сигар и бутылку шнапса, и там изложил друзьям свой проект.

На следующий день господин и фрау Шутцы приступили к работе. Ковер в библиотеке свернули, пол продолжили и установили лестницу, чтобы можно было спускаться в погреб. Старый вход в него замуровали. Туда была перенесена большая часть библиотеки, за книгами последовали коробки сигар, вина и ликеры уже находились там. Фрау Шутц обустроила тайник со всем возможным комфортом, и в несколько дней со столь присущим немцам чувством *gemutlich* погреб был превращен в приятную, хорошо устроенную комнатку. Отверстие в паркете было тщательно замаскировано ловко подогнанным щитом и покрыто ковром. Затем Герр Карл в последний раз вышел на улицу в сопровождении Герра Шутца, подписал несколько бумаг, произвел фиктивную продажу, чтобы уберечь дом и фабрику от конфискации; Герр Шутц, впрочем, настаивал, чтобы дать ему контр-письма и документы, которые впоследствии, когда придет время, позволили бы законному владельцу снова вступить во владение своим имуществом. Затем двое заговорщиков вернулись домой и Герр Карл, с хитрой улыбкой на губах, спустился в свой тайник, чтобы в полной безопасности дожидаться там возвращения хороших времен.

Дважды в день, в полдень и в семь часов Герр Шутц приподнимал ковер, убирал щит, и его жена спускала в погреб вкусно приготовленные блюда вместе с бутылкой хорошего вина, а вечером Герр Шутц регулярно отправлялся побеседовать со своим хозяином и другом о каком-нибудь возвышенном предмете, о правах человека, о терпимости, о бессмертии души, о пользе чтения и образования, и скромный погреб казался озаренным этими романтическими и великодушными видениями.

Вначале Герр Карл просил доставлять ему также и газеты, было у его и радио, но через полгода, поскольку новости становились все более обескураживающими, а мир, казалось, шел действительно навстречу своей гибели, он попросил забрать у него радио, чтобы никакой звук преходящей действительности не подорвал его непоколебимую веру в человеческую натуру, которую он вознамерился сохранить, и, скрестив на на груди руки, с улыбкой на устах он проводил дни посреди своего погреба, оставаясь верным своим убеждениям, отказавшись от какого-либо контакта со случайной, не имеющей завтрашнего дня действительностью. Кончилось тем, что он отказался даже читать газеты, чересчур угнетающие его, и удовольствовался тем, что перечитывал шедевры из своей библиотеки, черпая при соприкосновении с этими изобличениями всего временного постоянную силу, которая была нужна ему, чтобы сохранить веру.

Господин Шутц с женой поселились в доме, который чудесным образом пощадили бомбежки. На заводе сначала у него возник ряд затруднений, но он имел на руках бумаги, доказывающие, что он являлся законным наследником дела после бегства господина Карла за границу.

Жизнь при искусственном освещении и нехватке свежего воздуха увеличила объемы господина Карла, а его щеки постепенно, с годами, потеряли розовую окраску, но его оптимизм и вера в человечество остались непреклонными. Он стойко держится в своем погребе в ожидании, пока великодушие и справедливость восторжествуют на земле и, несмотря на очень плохие новости, приносимые его другом Шутцом, отказывается впадать в отчаяние.

Через несколько лет после падения гитлеровского режима друг господина Карла, вернувшийся из эмиграции, постучался в дверь частного отеля на Шиллерштрассе.

Высокий седеющий, слегка сутулящийся мужчина интеллигентного вида открыл ему. В руке он держал томик Гете. Нет, Герр Леви здесь не проживал. Нет, неизвестно, что с ним стало. Он не оставил никаких следов, и все запросы, сделанные после окончания войны, не дали никаких результатов. Grusse Gott! Дверь закрылась. Господин Шутц вернулся домой и направился в библиотеку. Жена уже приготовила поднос. Теперь, когда Германия снова вернулась к изобилию, она баловала господина Карла и готовила ему самые вкусные блюда. Ковер свернули, открыли крышку входа. Господин Шутц положил том Гете на стол и спустился вниз с подносом.

Господин Карл сейчас очень ослаб и страдает от флебита. Ко всему, у него начинает пошаливать сердце. Нужно бы врача, но он не может подвергнуть Шутцев такому риску: они погибнут, если станет известно, что вот уже годы они прячут в подвале еврея-гуманиста. Нужно набраться терпения, не поддаваться сомнениям; справедливость, здравый смысл и естественное великодушие, конечно, скоро восторжествуют. Только не падать духом. Господин Карл, хотя и очень исхудавший, сохраняет весь свой оптимизм, и его вера в человека ничуть не поколебалась. Каждый раз, когда господин Шутц спускается в погреб с дурными новостями — какой тяжелый шок, оккупация Англии Гитлером! — именно господин Карл ободряет его, сгоняя с помощью доброго слова морщины с его чела. Он показывает ему на книги, стоящие вдоль стен, и напоминает, что гуманизм, в конечном счете, всегда торжествует, поэтому и смогли, в атмосфере доверия и уверенности, родиться самые великие шедевры. Господин Шутц всегда возвращается из подвала очень успокоенным.

Фабрика игрушек функционирует превосходно, в 1950 году господин Шутц смог увеличить и удвоить цифру продаж, он занимается делом компетентно.

Каждое утро фрау Шутц приносит букет свежесрезанных цветов к изголовью господина Карла. Она поправляет ему подушки, помогает переменить положение и кормит его с ложечки, потому что у него теперь не хватает сил, чтобы есть самому. Сейчас он с трудом разговаривает, но иногда глаза его наполняются слезами, благодарный взгляд устремляется к лицам добрейших людей, которые помогли ему сохранить веру в них и в гуманизм вообще; чувствуется, что умрет он счастливым, держа в руках руки верных друзей, удовлетворенный тем, что оказался столь прозорливым.

Перевела с французского Зоя Панова.

Перевод сделан по изданию: Romain Gary. Les oiseaux vont mourir au Perou. Paris: Gallimard, 1962

**БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ (БСМД)  
6, RUE DE L'UNIVERSITE  
92001 NANTERRE**

**ЭЛЕН КАПЛАН**

БСМД создавалась на базе частного фонда, переданного в 1917 г. государству и подчиненного Министерству Образования под названием Библиотека-музей войны. Задачей музея являлся сбор документов по истории войны 1914–1918 гг. Впоследствии к ним были присоединены материалы по зарождению военного конфликта, по итогам переговоров и шире — по истории международных отношений XX в., что привело к переименованию Библиотеки в Библиотеку Современной Международной Документации. Постепенно хронологические рамки охвата материала расширялись. Ныне, спустя 70 лет, это действительно библиотека-музей — архив истории XX в. — политической, экономической и социальной. Что касается географических рамок, то первоначальные фонды Библиотеки охватывали документы из стран — участниц войны 1914–1918 гг., а затем — всего мира.

Ввиду того, что невозможно в равной мере освоить столь обширное пространство, в Библиотеке имеется несколько специальных, особо крупных фондов. Одним из таких фондов является русский — наиболее значительный сектор БСМД. Его особое положение объясняется условиями формирования: в момент основания Библиотеки события в России вызвали огромный интерес к русским материалам. Начиная с 1917 г. в Россию направлялись делегации для приобретения документов, благодаря чему к настоящему времени Библиотека стала обладательницей одной из самых богатых в Западной Европе коллекций материалов по революции 1917 г. и гражданской войне. Позднее, в период между двумя мировыми войнами, БСМД активно использовала возможность приобретать документы, архивы и целые библиотеки у русских эмигрантов во Франции и других странах; кроме того Библиотека одна из первых в стране установила контакты и организовала международный книгообмен с советскими библиотеками. Благодаря этому сегодня в ее хранилищах сосредоточена коллекция редких советских изданий 1920–1930 гг., часть которых была запрещена в СССР. Книгообмен с СССР был приостановлен лишь во время второй мировой войны.

Русский фонд охватывает широкий хронологический период: начиная с восстания декабристов и по наши дни. В нем хранится совершенно уникальная коллекция материалов, касающихся революционного движения в России XIX — начала XX века. Тематика имеющихся в русском фонде документов гораздо шире, чем тематика фондов других стран. В Библиотеке всегда особое внимание уделялось приобретению максимального количества книг и перио-

дических изданий из СССР, а также вышедших в других странах о Советском Союзе. Она собирает также и другие виды изданий, подпольную и полуподпольную литературу, продукцию «самиздата», различные материалы: листовки, афиши, фотографии, а также звуковые и аудио-визуальные, зачастую являющиеся документальными свидетельствами. В настоящее время Библиотека продолжает комплектование текущей литературой, выходящей в России, уделяя особое внимание «неформальным» периодическим и непериодическим изданиям.

Русский фонд насчитывает приблизительно 500 тысяч томов, около 40 тысяч названий периодики. К ним следует добавить обширные архивные собрания и ценнейшие коллекции иконографических материалов. Ежегодно БСМД получает свыше 4 тысяч новых русских книг и 1200 названий периодики (это количество можно удвоить, если учесть поступления так называемой «неформальной» печати). Таким образом рассматриваемый фонд — один из самых значительных в Западной Европе.

Для русского читателя фонды Библиотеки представляют интерес по многим причинам. Здесь хранятся уникальные документы (архивы, редкие и редчайшие издания). Особенно это касается материалов по истории революционного движения накануне 1917 г. и по истории всей русской эмиграции. Здесь сохранены редчайшие русские книги и журналы, уничтоженные цензурой в России. Библиотека обладает довольно полным собранием материалов, посвященных России и вышедших на Западе за последние 70 лет.

Доступ к фондам Библиотеки открыт для всех исследователей. Ассоциация Друзей БСМД издает журнал «Материалы по истории нашего времени».

Перевела с французского Румия Вильданова

**СЛОВА И ОТЗВУКИ  
LES MOTS ET LES ECHOS**

ISSN - 0135 - 5503

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ**

**АЛЕКСАНДР ЗАМАЛЕЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)  
АЛЕКСАНДР КЗАЙКОВСКИЙ (ПАРИЖ)  
ДАНЯ САВЕЛЛИ (ПАРИЖ)  
АЛЕКСАНДР ТРОЯНОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)**

**СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА  
REMERCIEMENT POUR L'AIDE APPORTEE A CE NUMERO  
ASSOCIATION LES AMIS DE LA REVUE LES MOTS ET LES ECHOS, MARION BERTOLINI,  
CLAUDINE KOPP, CLAUDE SCHNAIDT, ИЛЬЯ НИКИТИН**

Учредитель: А. Троянов  
Адреса редакции: 190031, Санкт-Петербург,  
набережная реки Фонтанки, 85—61  
78000 Versailles 20, rue de Satory  
Корректор: Елена Шмелева  
Обложка: Милена Гоголицина,  
Дина Савина

Зак. 235. Тираж 5000  
Свободная цена  
Изокомбинат «Художник РСФСР»  
Санкт-Петербург,  
Промышленная, 40